

# Грамматика русской власти: от московского царства до границ модели

«Всякая речь о власти есть миф. Этот — мой»

*А. А. Семенов. При методологической и аналитической поддержке ИИ*

Данное исследование проведено с использованием методологии симбиоза интеллектов (Symbiotic Dialogic Development, SDD) — формы прозрачного соавторства между человеком-исследователем и языковой моделью ИИ (DeerSeek, версия, актуальная в 2025–2026 гг.). Человек выступал архитектором, главным редактором и контролёром «генеральной линии»: постановка исходной проблемы и ценностных рамок, формулировка критических «вызовов», направлявших диалог, отбор и курирование результатов ИИ, отсечение тупиковых веток, финальные редакционные решения, постоянное поддержание философской и ценностно-ориентированной направленности.

Роль ИИ была преимущественно технической и структурной: логическое развитие предпосылок, генерация гипотетических архитектур, выявление скрытых противоречий и апорий, формальное структурирование текста (тезисы, таблицы, черновики разделов), языковая обработка, стресс-тестирование моделей на внутреннюю непротиворечивость. Его вклад был нетривиальным и незаменимым для достижения сложности итогового синтеза.

## Аннотация

Работа предлагает аналитическую метафору «грамматики власти» — глубинной структуры, определяющей не то, о чём можно говорить в политической сфере, а как именно строятся легитимные высказывания. На материале русской истории от ордынского периода до современности показано, как внешнее насилие превращается во внутреннюю немыслимость через трёхступенчатый механизм: страх → атрофия → невозможность.

В центре анализа — трансформация политического «подлежащего»: от московского именованного государя, отвечающего перед Богом, к советскому коллективно-безличному субъекту («партия», «пролетариат») и постсоветскому расщеплённому подлежащему (публичное лицо + теневое облако решений). Выделяется «треугольник интересов» (служилые, дьяки, церковь / идеология), который воспроизводит односубъектную грамматику независимо от смены режимов.

Ключевой вывод: три исторических возврата к односубъектной модели (после Смуты, 1917 и 1991 годов) представляют собой не циклы, а траекторию *вырождения подлежащего* — последовательную утрату лица, ответственности и именованности власти. Логическим пределом этой траектории является безличная алгоритмическая система, в

которой вопрос «кто отвечает?» становится грамматически невозможным.

Работа завершается методологическим резюме и программой «пересборки», вырастающей из самой грамматической логики, — без морализаторства, но с чётко обозначенной ценностной позицией автора.

**Ключевые слова:** грамматика власти, политическая теология, немыслимость, суверенитет, Иван Калита, ордынское наследие, односубъектная модель, вырождение подлежащего, треугольник интересов, эпистемический зазор

## **Оглавление**

### **Эпиграф**

### **Аннотация**

### **Ключевые слова**

## **Часть I. Как страх становится языком: грамматика московской власти**

1. О чём этот текст и почему «грамматика»
2. Две грамматики до Москвы
3. Как Орда переписала политическую речь
4. Как умирает не институт, а падеж
5. Церковь: симфония, которая стала вертикалью
6. Треугольник, который держит грамматику
7. Три ступени: как страх становится немыслимостью
8. Трещины
9. Универсальность механики: четыре иллюстрации из других сред
10. Как устроен этот механизм: зазор, ядро и иммунитет
11. Вместо итога: зрение, а не приговор

## **Часть II. Панорама: грамматика русской власти от Ивана III до Путина**

1. Иван III: рождение грамматики

2. Смута: грамматический коллапс
3. Пётр I: переизобретение грамматики сверху
4. Екатерина II — Александр I: жалованная грамматика
5. Декабристы: рождение альтернативной грамматики
6. Николай I — Александр II: уваровская грамматика и её эрозия
7. Александр III — Николай II: контрреформы и накопление зазора
8. Революция 1917: рождение коллективного подлежащего и первая кража лица
9. Сталин — Брежнев: попытка вернуть лицо и затвердевание безличного
10. Горбачёв — Ельцин: попытка вернуть множество подлежащих и грамматический хаос
11. Путин: ловушка расщеплённого подлежащего
12. Что говорит эта панорама: вырождение, а не цикл

### **Часть III. Три возврата: вырождение подлежащего**

1. Первый возврат: личное подлежащее
2. Второй возврат: коллективное подлежащее и кража лица
3. Третий возврат: расщеплённое подлежащее и симуляция
4. Что показывают три возврата
5. Контраргументы и пределы аргумента

### **Часть IV. Предел вырождения: куда ведёт грамматика без лица**

1. От лица к функции
2. Проблема регресса контролёров
3. Внешняя Инстанция как логическая возможность
4. Что остаётся

### **Программа пересборки: выход из траектории вырождения**

1. Институциональное измерение: расширение периферии договора

2. Антропологическое измерение: выращивание субъекта
3. Религиозно-этическое измерение: возвращение внешней инстанции
4. Предохранители: как не сорваться в новый виток

### **Методологическое резюме**

1. О чём эта работа и что такое «грамматика власти»
2. Три порядка ограничений
3. Механизм: три ступени
4. Треугольник интересов
5. Эволюция ответственности и эпистемический зазор
6. Авторская позиция: между анализом и выбором
7. Что остаётся

### **Часть I. Как страх становится языком: грамматика московской власти**

#### **1. О чём этот текст и почему «грамматика»**

Сарай, зима 1332 года. В ханском шатре, разогретом угольными жаровнями, пахнет войлоком, бараньим жиром и замёрзшей полынью — запах принесли на одежде нукеры, вошедшие с мороза. Хан Узбек сидит, поджав ноги, на груди подушек и медленно перебирает нефритовые чётки. Перед ним — двое. Один, тверской князь Александр Михайлович, ещё недавно был великим князем владимирским; теперь он изгой, от него пахнет страхом. Второй — Иван Данилович Московский, невысокий, с цепким взглядом человека, который привык считать. Хан говорит мало. Он уже всё решил. Ярлык на великое княжение и право собирать «выход» со всех русских земель получит Москва. Не потому, что Калита смелее или преданнее. А потому, что Тверь пять лет назад восстала и сожгла баскака, а Москва — нет. Потому что тверской князь силен и может саботировать, а московский слаб и будет стараться. Потому что московские дьяки умеют считать дымы, сохи и погосты быстрее, чем кто-либо другой. Это не награда за верность. Это расчёт.

Никто в шатре не записывает этот разговор. Летописцы узнают о нём позже, из вторых рук, и изложат в трёх строках. Но именно здесь, в войлочной духоте, среди нефритовых чёток и полынного запаха, начинается история, которая определит русскую политическую речь на пять столетий вперёд. Иван Калита покидает Сарай не просто с ярлыком. Он увозит с собой инструмент, которого раньше не было ни у

кого: монополию на сбор дани. Инструмент, который перепишет сам язык, на котором русские земли говорят о власти.

Есть вещи, которые невозможно обсуждать не потому, что они запрещены, а потому, что сам язык обсуждения не даёт для них формы. Это свойство любого устоявшегося порядка: он создаёт не только институты и законы, но и саму речь, которой о нём говорят. Речь, в которой одни высказывания строятся легко и естественно, а другие не строятся вовсе — не потому что за ними следует наказание, а потому что для них нет грамматической позиции. Назовём это **грамматикой власти**.

Понятие «грамматика» используется здесь не как лингвистический термин, а как аналитическая метафора. Подобно тому, как грамматика языка задаёт не *о чём* говорить, а *как именно* строить осмысленные фразы — порядок слов, падежи, согласование, — политическая грамматика регулирует формы выражения, но не содержание решений.

Кто может быть подлежащим? Какие глаголы с ним сочетаются? В каком падеже стоят все остальные? «Князь повелел, и бояре исполнили» — правильное высказывание для Москвы конца XV века. «Вече постановило, и князь подчинился» — правильное для Новгорода XIV века. В Москве того же времени эта конструкция уже не складывается. Слова есть, а грамматической позиции для них нет. Это не запрет. Это невозможность.

Здесь проходит граница между грамматикой и двумя более привычными, но поверхностными ограничениями. **Цензура** — явный запрет, за которым стоит угроза наказания: «этого говорить нельзя, а за нарушение — санкция». **Самоцензура** — добровольный отказ из страха: «я не скажу этого, потому что боюсь». В обоих случаях мысль существует и подавляется внешней или внутренней силой. **Грамматика** действует глубже: мысль не формируется вовсе. Нет формы — нет высказывания. Грамматический запрет не нуждается в страхе. Он работает через отсутствие самой способности построить фразу. Запрещать не нужно то, для чего в языке просто нет слов.

Применительно к политической системе грамматика определяет пять вещей: что считается проблемой, достойной обсуждения, а что — нерелевантным шумом; какие причинно-следственные связи легитимны; какие аргументы принимаются всерьёз; кто и в какой форме может вносить предложения; и главное — какие варианты действий вообще могут быть помыслены и озвучены.

Но грамматика не падает с неба. Она — затвердевшая практика. Дьяки считают дымы для хана — и через поколение уже не могут помыслить управление без счёта. Князь опирается на ярлык, а не на вече — и через поколение сама идея договариваться с городом становится не запретной, а странной, архаичной, немыслимой. Как это происходит — центральный вопрос этого текста.

## 2. Две грамматики до Москвы

Задолго до того, как Иван Калита повёз из Сарая ярлык, русские земли говорили о власти иначе. Не лучше и не хуже — иначе. В языке, на котором они говорили, подлежащих было несколько.

Представьте себе Новгород, около 1360 года. Февраль, мокрый снег, ветер с Волхова. На вечевой площади у Святой Софии собирается толпа. Бояре в тяжёлых шубах, «чёрные люди» в тулупах попроще. Обсуждают: строить ли новую церковь на Торговой стороне? Князя нет — он приглашённый, его дело военный поход. Посадник оглашает смету. Бояре спорят: серебро нужно на городские стены, а не на храм. Но «чёрные люди» Торговой стороны настаивают: церковь нужна сейчас. Голосуют. Спорят. Вечевой колокол — грамматический сигнал: сейчас будет высказывание от коллективного лица. Решение принято. Через год церковь стоит.

Это не идиллия. Новгородское вече было ареной жесточайшей борьбы боярских партий, кончанских интересов, уличанских счётов. Проигравших иногда топили в Волхове. Но вече работало. И главное для нашего разговора — оно оставило след в языке. Договорные грамоты Новгорода с приглашёнными князьями фиксируют жёсткие правила. «А без посадника ти, княже, суда не судити, ни волостей раздавати, ни грамот давати», — здесь князь подлежащее при глаголах с отрицанием. Ему не просто запрещают — его грамматически ограничивают. А вот другая конструкция: «Се пожаловаша посадник и тысяцкий и весь господин Великий Новгород...» Коллективный субъект во множественном числе. Это не князь жалуёт землю. Это город в лице выборных и веча выступает дарителем. У князя и города — разные зоны глаголов. Князь командует войском. Город распоряжается землёй и казной. Два подлежащих.

Теперь переместимся южнее, в Галицко-Волынскую землю. Здесь источники другие — не договорные грамоты, а летопись. Но и здесь сквозь летописный нарратив просвечивает та же грамматика. Галицкие бояре — сила своекорыстная, узкая, далёкая от новгородской относительной широты. Но когда они восстают против князя Даниила, летописец фиксирует прямую речь: «послаша к князю Данилу, рекуще: "не хотим, княже, тебя"». Коллективный субъект. Отказ. Политическое высказывание, немыслимое в Москве XVI века, здесь — рядовая запись. В другом эпизоде: «бояре же галицкие совет сотвориша с князем», «князь же Данил целовал крест к боярам на том, что...». Конструкция договора: князь не повелевает, а целует крест. Две стороны. Два субъекта.

Это не демократия в современном смысле и даже не прото-демократия. Боярский совет Галича узок и олигархичен. Новгородское вече аристократично и часто жестоко. Но грамматически это языки с несколькими легитимными субъектами. Власть проговаривается во множественном числе. И эта множественность — не недостаток, а устройство. Она умеет договариваться. Медленно, со скрипом, с драками на площади — но умеет.

Через двести лет ни в Москве, ни в подчинённых ей землях не останется ни одного подлежащего, кроме государя. Что произошло за эти двести лет? Как множественное число политической речи сменилось единственным? Чтобы ответить, нужно вернуться в Сарай — и пойти по следу ярлыка, который Калита увозил из ханского шатра в московский терем.

### **3. Как Орда переписала политическую речь**

Москва, зима 1333 года. В тесной палате кремлёвского терема, при свете сальной свечи, скрипит перо. Писец — из бывших баскаковых выучеников, крещёный татарин или обрусевший ордынец, кто теперь разберёт — склонился над листом. Перед ним не летопись и не духовная грамота. Перед ним — роспись. Дымы. Сохи. Погосты. Цифры, от которых пахнет не ладаном, а дымом далёких кочевий.

Ордынские переписи начались ещё в 1250-х. Сначала их проводили ханские численники — чужие, страшные, говорящие на непонятном языке. Они считали не людей — тягло. Не землю — объект обложения. «Дым» — не очаг, а единица. «Соха» — не орудие, а норма. «Выход» — не действие, а сумма. Категории, которых русский язык не знал, входили в него через скрип пера и страх перед татарской саблей. Это был эпистемический сдвиг — не просто новые слова, а новая система координат. Земля перестала быть стороной договора. Она стала объектом исчисления. Население перестало быть политической общностью — стало тягловой массой.

Калита, вернувшись из Сарая, не устраивал пиров. Летописи скупы: сказано, что князь занялся «устроением земли». За этой формулой — работа дьяков в тесных палатах. Они переписывали ордынский учёт на московский лад. Привязывали дымы к конкретным волостям, сохи — к погостам, выход — к норме. Московская администрация начинала видеть землю так, как видел её ханский сборщик: как ресурс, который можно не только доить, но и обустроить. Через несколько лет дьяк, скрипевший пером над первой росписью, заметит: тот же подсчёт, который нужен для выхода, позволяет отжать соседнюю волость. Купить. Обменять. Принудить к уступке. И он сделает это — не потому, что злодей, а потому, что его язык уже не знает других глаголов.

В этом — главный механизм. Агент, освоивший грамматику хозяина, начинает думать на ней. Сначала дьяк считает дымы, потому что велит хан. Потом — потому что велит князь. Потом — потому что иначе он уже не умеет. Язык, в котором земля — объект, а население — масса, стал повседневным инструментом московской администрации. А затем — единственным способом говорить об управлении. Грамматика завоевания не требовала меча. Она требовала писца.

Ярлык заменил вечевой договор. Раньше князь, вступая на стол, целовал крест горожанам. Теперь он предъявлял грамоту из Сарая, и одобрения площади не требовалось. Конструкция «князь с вечем порешили» стала грамматически избыточной. Достаточно было: «князь повелел». Веча ещё упоминаются в источниках конца XIV века — но их

глаголы меняются. Раньше вече «решало». Теперь — «просит», «жалуется», «молит». Из подлежащего оно становится дополнением. Его не запрещали. Его перестали слышать.

Одновременно изменился тип сказуемого при слове «дань». Раньше дань была событием: «запросили — дали — откупились». Глаголы разового действия, часто с эмоциональной окраской. Теперь дань стала состоянием. Глаголы переговоров сменились глаголами учёта: «разложить», «собрать», «недоимка». Дань больше не обсуждают. Её исчисляют. Это грамматический переход от мира переговоров к миру тягла.

Субъект власти стягивался в точку — медленно, десятилетиями. Ранние московские грамоты XIV века ещё полны старых формул: «по ряду», «по старине», «по крестному целованию». Здесь ещё слышен голос договора, пусть и затихающий. К концу XV века этих формул нет. Духовная грамота Ивана III говорит иначе: «приказываю», «благословляю», «даю». Один субъект. Предикаты единоличного распоряжения. Грамматика стала политической реальностью — и политическая реальность затвердела в грамматике.

Там, в тесной палате с сальной свечой, где пахнет воском и овчиной, ещё никто не знает, что происходит. Дьяк трёт усталые глаза. Завтра он продолжит роспись. Через двести лет его отдалённый преемник — подьячий Посольского приказа — составит грамоту, в которой слово «вече» будет обозначать бунт, а слово «договор» — крамолу. Грамматика не заметит подмены. Она просто перестанет давать падеж для того, чего больше нет.

#### **4. Как умирает не институт, а падеж**

Ростов, зима 1289 года. Татарский отряд требует внеочередной дани — сверх той, что уже собрана и увезена. Ростовцы выходят на вечернюю площадь. Морозный пар от дыхания, скрип снега под сотнями ног. Летописец скуп, но точен: «Татарове умножиша дань, и не стерпеша ростовцы, и изгнаша их из града, и колокола биша». «Ростовцы» — подлежащее. «Изгнаша» — активный глагол. Вечерняя конструкция ещё жива. Колокола звонят — не тревожно, а торжествующе. Город сказал своё слово.

Через несколько месяцев приходит карательная рать. Летописи не сообщают подробностей — только результат: Ростов платит исправно. Вечерний сход после этого не упоминается вовсе. Его не запретили — не сохранилось ни одного указа, ни одной грамоты с формулой «вечерним сходом не быть». Просто форма «вече решило» стала смертельно опасной. Ею перестали пользоваться из страха. Затем — по привычке не пользоваться. Затем — за отсутствием живых носителей, которые помнят, как это делается.

Проходит поколение. Дети, выросшие в Ростове, уже не слышали, как старшие «рядились» с князем. Они знают только «князь повелел». Ещё через поколение сама идея собраться на площади и принять решение

всем миром становится не запретной — непонятной. О ней не спорят. Её не помнят.

Тверь, август 1327 года. В город въезжает ордынский баскак Щелкан со свитой. То ли он действительно творит насилия, то ли слух о них бежит впереди него — теперь не разобрать. Тверь закипает. Вечевой колокол зовёт на площадь — в последний раз как полноправный голос тверской политической речи. Горожане бросаются на ордынцев. Щелкана сжигают в княжеском дворце. Тверь действует по старой грамматике: община — субъект политического действия.

Через месяц московский князь Иван Калита ведёт в Тверь карательную рать — ту самую Федорчюкову рать, о которой будут помнить столетиями. С ним идут татарские тумены. Тверь сожжена дотла. Князь Александр Михайлович бежит в Литву, потом в Псков. Тверские грамоты последующих десятилетий перенимают московские формулы. Никакого «вече решило». Только «князь повелел».

Новгород, январь 1478 года. Иван III входит во Владычную палату Новгородского кремля. За его спиной — московское войско, осадившее город. В палате — архиепископ Феофил, старые бояре, посадники. Они ещё надеются торговаться. Они помнят, как это делается: уступка за уступку, формула за формулу. Новгород всегда торговался — это и было его политической речью.

Иван не торгуется. Он произносит три фразы. Каждая — отрицание: «вечевому колоколу не быть, посаднику не быть, государю править на своей отчине». Архиепископ пытается что-то сказать — Иван обрывает. Это не переговоры. Это приговор. Три «не быть» — и целый строй политической речи упразднён. Местоимение «своей» — грамматическая точка, поставленная на трёхсотлетней истории новгородской государственности. Земля больше не совокупность уделов, полученных по наследству, захваченных, выменянных. Земля — «своя отчина». Единственное число. Одно хозяйское тело. Один субъект власти.

Через несколько дней вечевой колокол снимают с Софийской звонницы. Его везут в Москву — не как трофей, а как упразднённый орган речи. Он замолкает навсегда.

Иван III не выбирал между новгородской моделью и московской. Выбора не было. К концу XV века московская грамматика уже не имела падежа для веча. Она не могла помыслить политическое высказывание с двумя подлежащими. Новгородский колокол был обречён не потому, что Москва оказалась сильнее военной силой. А потому, что язык, на котором Москва говорила о власти, больше не содержал грамматической позиции для того, что этот колокол символизировал.

Три города. Три удара. Ростов — страх. Тверь — огонь. Новгород — тишина, которая наступает после того, как замолкает колокол.

## **5. Церковь: симфония, которая стала вертикалью**

Митрополит Киприан, грек родом, стоит в алтаре Успенского собора Московского Кремля, август 1395 года. Он только что вернулся из Константинополя, где спорил, убеждал, интриговал — и в итоге добился своего: русская митрополия осталась единой. Но грек смотрит на московского князя Василия Дмитриевича и понимает: единство церкви, за которое он боролся, имеет цену. Цена — растущая зависимость от московского стола. Константинополь далеко. Орда рядом. Москва — ближе всех.

Русская церковь принесла на Русь собственную грамматику власти задолго до Батыя. Она пришла из Византии и говорила на языке симфонии — том самом, который был сформулирован ещё в новеллах Юстиниана: царство и священство, тело и душа, два субъекта в согласованном, но неслиянном действии. Император правит телами, патриарх — душами. Они не сливаются, но и не расходятся. Грамматически это означало: полное высказывание о легитимном порядке требует двух подлежащих. «Царь повелел, и патриарх благословил». «Патриарх постановил, и царь утвердил». Две зоны глаголов.

Ордынское завоевание сместило тектонику. Ханские ярлыки освободили церковные земли от податей — это был дар, от которого невозможно отказаться. Церковь стала богатейшим землевладельцем в разорённой стране. Но за дары нужно платить. Митрополиты всё чаще выступали ходатаями перед ханом — и одновременно легитиматорами московского князя, который умел договариваться с Ордой лучше других. Имперский полюс симфонии, ранее находившийся в Константинополе, начал медленно смещаться в Москву. Не потому, что кто-то этого хотел. А потому, что Константинополь был далеко и слабел, а Москва была рядом и усиливалась.

Внутри самой церкви этот сдвиг не был бесспорным. Спор иосифлян и нестяжателей в конце XV — начале XVI века был не просто спором о церковном имуществе. Это был конфликт грамматик. Иосиф Волоцкий настаивал: священство выше царства, царь должен подчиняться церковному суду в вопросах веры, церковное имущество — залог этой независимости. Нил Сорский и нестяжатели склонялись к разграничению сфер: монахам не подобает владеть сёлами, пусть занимаются молитвой, а политика — дело князя. В грамматических терминах: иосифляне хотели сохранить церковь как полноценного второго субъекта с собственной зоной глаголов. Нестяжатели соглашались на более скромную позицию — подлежащее одно, а церковь при нём.

Победили иосифляне. Но их победа оказалась парадоксальной. Сильное священство, вознесённое над царством в теории — «священство выше царства», — на практике всё глубже встраивалось в московскую вертикаль. Царь защищал церковь — и церковь освящала царя. Грамматика симфонии с двумя равноправными субъектами незаметно превращалась в грамматику с одним подлежащим и модальным дополнением. «Государь повелел, владыка благословил» —

«благословил» здесь не самостоятельное решение, а подтверждение уже принятого.

Развязка наступила при Алексее Михайловиче. Патриарх Никон попытался восстановить церковь как полноценного второго субъекта — и проиграл. В 1666 году Большой Московский собор низложил Никона, но подтвердил его реформы. Церковь сохранила обрядовую власть и потеряла политическую. После петровской синодальной реформы она стала государственным департаментом. Византийская симфония умерла окончательно.

Московская грамматика победила не только Новгород. Она победила и внутри церкви — переварив византийское наследие и превратив его в элемент собственной конструкции. Ордынский фильтр, наложенный на византийский материал, дал на выходе гибрид, которого не было ни в Константинополе, ни в Сарае. Одно подлежащее. Все остальные — в косвенных падежах. И модальность «государю повиноваться подобает» — не как вынужденное подчинение, а как внутренняя норма.

Киприан, стоящий в алтаре, ещё не знает этого будущего. Он смотрит на князя Василия и надеется, что симфония устоит. Он ошибается. Но его ошибка станет ясна только через два столетия.

## **6. Треугольник, который держит грамматику**

Конец 1680-х. Трое в разных концах Московского государства. Они незнакомы, и их имена ничего не скажут даже внимательному историку. Но их социальные позиции — это и есть тот каркас, на котором держится грамматика русской власти. Они — живые узлы треугольника. Он не придуман, не учреждён указом, не записан ни в одном законе. Но он существует — и будет существовать, меняя названия своих вершин, до тех пор, пока существует сама конструкция.

**Вершина первая: служилый.** Вологодский помещик средней руки стоит у окна тесного дома и вертит в руках царскую грамоту. Грамота подтверждает его право на поместье. Не на землю — на поместье. Разница огромна. Землём владеют вотчинники — по наследству, по старине, по праву. Поместье даётся под условием службы, и в любой момент его можно отобрать. Наш помещик этого не боится — он исправен. Он выставляет конного человека с пищалью. Он знает: пока он служит — поместье за ним.

Он не мыслит себя вне этой конструкции. Его «я» существует только внутри глаголов «пожаловать», «поверстать», «служить». Он не скажет: «я владею землёй по праву рождения». Он скажет: «государь меня пожаловал». Это не подобострастие и не трусость. Это грамматика его социального существования. Если вынуть из-под него эти глаголы — он потеряет не имущество, а самого себя как социальное существо.

Пройдёт два века. Поместная система исчезнет. Появятся другие названия — офицерство, чиновничество, номенклатура, силовики. Но

позиция останется: тот, чей статус не автономен, а произведен от верховной власти. Тот, кто держится не на собственности и не на праве, а на глаголах «пожалован», «назначен», «поверстан». Служилый — первая вершина треугольника, и она не исчезнет, пока существует сама конструкция.

**Вершина вторая: дьяк.** В приказной избе, за сто вёрст от вологодского помещика, сидит человек, чьё имя тоже никому не известно, но чьё ремесло составляет нерв нарождающегося государства. Он — дьяк. Перед ним — окладная книга. Он сводит цифры: сошное письмо, тягло, недоимки. Он не командует, не владеет, не воет. Он считает.

Его профессиональный язык состоит из слов, которых не знала договорная Русь: «оклад», «развёрстка», «недоимка», «доимка». Он не может помыслить управление без этих слов. Если ему сказать: «давайте управлять без оклада, по уговору», — он не поймёт. Не потому что глуп. А потому что его мышление встроено в исчисляемые единицы. Отними их — и он потеряет не работу, а способность думать о работе.

Дьяк — это не просто должность. Это позиция: тот, кто превращает власть в учёт, решение в цифру, политику в администрирование. Пройдут века. Дьяки исчезнут, появятся министерские чиновники, плановики, аппаратчики, госкорпоративные менеджеры. Но позиция останется: тот, кто обслуживает грамматику власти через исчисление и учёт. Тот, без кого ни одно решение не станет исполненным.

**Вершина третья: церковь.** Третий участник незримого треугольника стоит на амвоне. Священник, только что прочитавший пастве поучение, в котором поминает государя как «земной образ Царя Небесного». Он не лицемерит. Он верит в то, что говорит. Но его вера грамматически устроена определённым образом.

Церковь получила монополию на модальность должного. Никто, кроме неё, не может легитимно произнести: «государю повиноваться подобает». Никто не может освятить власть — превратить её из голой силы в порядок, имеющий высшую санкцию. Это её участок грамматики. Она держит его цепко — не потому, что корыстна, а потому, что это и есть её функция в конструкции.

Пройдут века. Церковь потеряет патриаршество, потом восстановит его, переживёт гонения и возрождение. Но позиция в треугольнике останется: тот, кто легитимирует власть через отсылку к трансцендентному. В XX веке её место займёт идеологический аппарат с его «научным коммунизмом» — но функция та же: освящение единственного подлежащего.

### **Логика треугольника**

Три группы. Три социальные позиции. Три участка грамматики, покрывающие всё поле политической речи. Служилый отвечает за

предикаты: «служить», «исполнять», «охранять». Дьяк — за объекты и числительные: «исчислить», «разложить», «собрать». Церковь — за модальность: «подобает», «надлежит», «благословляется». Управление, учёт, освящение. Сила, цифра, смысл.

Ни одна из трёх групп не является злодеем. Ни одна не является жертвой. Каждая действует в собственных интересах. Служилый хочет сохранить поместье — и воспроизводит предикаты службы. Дьяк хочет сохранить приказ — и воспроизводит практики учёта. Священник хочет сохранить паству — и воспроизводит формулы освящения власти. Каждый, действуя в свою пользу, поддерживает грамматику с единственным подлежащим.

В этом и состоит главный ответ на вопрос: почему московская грамматика не рухнула, когда Орда исчезла? Внешняя сила, создавшая конструкцию, ушла. Но конструкция уже обросла внутренней опорой. Пока треугольник спаян — а он оставался спаянным столетиями, меняя названия вершин, но не их функции, — альтернативу некому выговорить. Не потому, что всем заткнули рот. А потому, что нет социальной позиции, из которой альтернатива могла бы быть осмысленно сформулирована.

Панорама от Ивана III до Путина, которая ждёт нас впереди, — это во многом история о том, как треугольник менял свои названия и не менял свою суть. Служилые становились офицерами, чиновниками, номенклатурой. Дьяки — министерскими столоначальниками, плановиками, аппаратчиками. Церковь на время уступала место идеологическому отделу. Но три вершины оставались. Потому что грамматика с одним подлежащим не может держаться на одном человеке. Ей нужен каркас. И каркас этот — треугольник.

## **7. Три ступени: как страх становится невысказанностью**

До сих пор мы говорили о механизмах. О том, как Орда переписала политическую речь, как вече потеряло падеж, как церковная симфония стала вертикалью, как треугольник интересов скрепил конструкцию. Но под всем этим лежит более глубокий вопрос, без ответа на который всё предыдущее останется описанием, а не объяснением. Вопрос этот — как? Как внешнее насилие превращается во внутреннюю невозможность? Как угроза сабли становится отсутствием падежа? Как страх, испытанный одним поколением, становится невысказанностью для другого?

Это трёхступенчатый механизм, и его можно проследить на судьбе отдельного слова.

**Первая ступень: страх.** Ростов, зима 1289 года — мы уже были здесь. Толпа на площади, колокола, «изгнаша их из града». А через несколько месяцев — карательная рать. Те, кто выжил, знают теперь твёрдо: вечевое решение означает смерть. Они не перестали понимать, как оно работает. Они не разучились его принимать. Они боятся. Мысль о том, чтобы собраться на площади и сказать «нет», ещё жива — она

подавлена страхом. Это не грамматика. Это цензура и самоцензура. Самый поверхностный, самый грубый уровень.

**Вторая ступень: атрофия.** Проходит поколение. Дети, выросшие в Ростове 1290-х, уже не видели работающего вече. Они слышали рассказы старших — о том, как когда-то «рядились» с князем, как спорили на площади, как били в колокола. Но сами они этого не делали. Они знают слово «вече», но не знают практики. Слово без практики — как мышца без движения. Оно не исчезает сразу, но дряхлеет. Ещё поколение — и «рядиться» становится архаизмом, словом из дедовских рассказов. Его ещё помнят, но уже не употребляют. Ещё поколение — и его не помнят вовсе.

Здесь ещё нет запрета. Сказать «вече постановило» формально можно. Но это всё равно что сказать «смерд сел на коня» — непонятно к чему. Практика ушла, и форма за ней не поспела.

**Третья ступень: немыслимость.** Молодой дьяк, 1470-е годы, сидит в московской приказной избе. Он образован, начитан, знает летописи. Он встречал там слово «вече». Но когда он пытается помыслить: а что, если бы и сейчас... — он не может. Не потому, что боится наказания. Бояться нечего — он же просто думает. А потому, что его язык не даёт ему грамматической позиции, в которую можно поставить «вече» как подлежащее при глаголе «решило». В его мире решения принимает государь. Бояре советуют. Дьяки исполняют. Вече — это из другой грамматики, из другого мира, который не просто исчез, а стал непредставим.

Когда ему рассказывают о Новгороде, он искренне считает это архаичным бунтом, а не работающей политической формой. Он не глуп. Он не труслив. Он — продукт третьей ступени. Нет запрета — есть невозможность.

Так внешнее насилие, пройдя через три поколения, становится внутренней немыслимостью. Грамматика — это затвердевший страх. Страх, который больше не нуждается в сабле, потому что стал языком.

**Но страх — не всё.** Было бы ошибкой думать, что московский порядок держался только на нём. Для простого человека — крестьянина, посадского, мелкого приказного — в этом порядке была и своя, пусть небольшая, но реальная выгода. Предсказуемость. Тиун приезжал в известное время. Норма выхода была известна заранее. В неурожайный год князь иногда давал льготу — не из милосердия, а потому что мёртвый или сбежавший смерд не заплатит ничего. Этот элементарный хозяйственный расчёт — крестьянина, тиуна, князя — создавал нижний этаж системы. Люди терпели не только потому, что боялись. Они терпели потому, что предсказуемая тяжесть лучше хаоса. Страх и расчёт сплетались в одну упряжь — и везли московскую телегу дальше.

**Почему это важно.** Три ступени объясняют то, что иначе пришлось бы списывать на загадочную русскую душу. Почему после Смуты Земские соборы не стали парламентом? Не потому, что русские не умеют

договариваться — умели же новгородцы. А потому, что за пятнадцать лет хаоса атрофия не успела смениться немислимостью, и соборы ещё работали, — но страх перед хаосом уже запустил обратный цикл. Почему после 1917 года Советы были захвачены партией? Альтернативная грамматика, расцветшая в Феврале, не имела под собой поколений практики. Её носители помнили слова, но не помнили, как ими пользоваться.

Если немислимость — это затвердевший страх, значит, она не вечна. Страх можно пережить. Практику можно восстановить. Слова можно вспомнить. Три ступени — не приговор. Это карта. Карта того, как можно пройти путь обратно: от немислимости — к атрофии, от атрофии — к страху, от страха — к речи. Путь трудный. Долгий. Негарантированный. Но возможный.

## 8. Трещины

Полная немислимость — редкость, даже в самые глухие времена. Носители другой речи остаются всегда. Они подавлены, маргинализированы, иногда уничтожены — но не исчезают. И их присутствие — лучший аргумент против того, что односубъектная грамматика есть «русская судьба».

Старообрядческий раскол середины XVII века — не просто спор о перстосложении, как его часто представляют. Это был конфликт двух грамматик внутри самой церкви. Официальная, никонианская, уже встроилась в вертикаль: патриарх — голос государя в церкви, государь — защитник веры. Старообрядцы сохранили соборные конструкции: решения принимаются не единолично, а советом; община имеет голос; священство не сливается с царством, а стоит отдельно и может обличать царя. Они проиграли — ушли в скиты, на костры, в подполье. Но они показали: даже внутри московского православия, казалось бы, насквозь пропитанного грамматикой единственного подлежащего, жила альтернативная политическая речь.

Казачий круг — другой пример. Дон, Яик, Терек — казачьи войска веками сохраняли собственную грамматику власти. Высший орган — круг, собрание всех полноправных казаков. Атаман выборный, в любой момент переизбираемый. Принцип «с Дону выдачи нет» — не просто вольница, а грамматическая формула: субъект — круг, предикат — отказ. Москва переваривала эту грамматику веками. Через жалованье, реестры, присяги, а когда не помогало — через карательные экспедиции. К XVIII веку казачья старшина уже говорит на языке «пожалований» и «службы», а круг становится ритуалом. Но память о другой речи сохраняется.

Эти трещины важны не только как исторические курьёзы. Они доказывают: грамматика власти никогда не самоподдерживается. Её нужно постоянно воспроизводить — окладами, указами, проповедями, иногда прямым насилием. Это требует ресурсов. А ресурсы конечны. Писцовые книги ввали о реальных размерах пашни, воеводы приписывали несуществующие сборы, крестьяне числились там, где их

уже не было. Система учёта, созданная Калитой и его дьяками, со временем стала производить фикции. Но отказаться от них было нельзя — потому что на этих фикциях держался треугольник. Зазор между речью и реальностью накапливался. Каждый цикл латания истощал ресурсы, и каждый следующий зазор становился шире. Именно в таких зазорах, когда старая грамматика перестаёт описывать реальность, а новая ещё не родилась, и возникают исторические разрывы.

Старообрядцы проиграли. Казачий круг был ассимилирован. Но сама логика трещин показывает: альтернативная грамматика не умирает. Она уходит в тень, в подполье, в память — и ждёт своего часа. Час может не наступить никогда. А может наступить завтра.

## **9. Универсальность механики: четыре иллюстрации из других сред**

Мы проследили, как грамматика власти формировалась, затвердевала и давала трещины в московском контексте. Теперь полезно убедиться, что грамматическая немыслимость — не уникальное свойство русской политической культуры. Она воспроизводится в любых системах, где есть устойчивый порядок речи. Вот четыре зарисовки из принципиально разных сред.

**Плановый отдел.** Москва, 1978 год. Пожилой экономист в потёртом пиджаке склоняется над сводкой. Фонды. Нормативы. Резервы. Дефицит хронический, он знает это лучше всех. Он мог бы предложить «усилить контроль», «пересмотреть нормативы», «выявить резервы». Эти фразы легко строятся в его профессиональном языке — они грамматически правильны. Но он не может произнести: «Отпустите цены, и дефицит исчезнет». Не потому, что боится — хотя, конечно, боится. А потому, что его язык не содержит конструкции, в которой «цена» была бы результатом взаимодействия спроса и предложения, а не расчётной категорией. Сама связка «дерегулирование → исчезновение дефицита» требует иного подлежащего и иного сказуемого, нежели те, которыми он располагает. Он не глуп. Он — хороший специалист. Но немыслимость структурна: отсутствует грамматическая форма.

**Врачебный обход.** Ленинград, 1983 год. Утро в клинике. Заведующий отделением, светило с тридцатилетним стажем, ведёт обход. За ним — свита: ординаторы, интерны, медсёстры. Он останавливается у постели больного, выслушивает, хмурится и изрекает: «Редкое осложнение. Будем лечить так-то». Молодой ординатор, стоящий в заднем ряду, замечает деталь, которая указывает на иную, более прозаическую болезнь. Он хочет сказать об этом. Но форма доклада на обходе подчинена грамматике субординации. Он открывает рот и произносит: «Иван Иванович, вы, конечно, правы, но, может быть, стоит учесть ещё и...» — и это «но, может быть» уже разрушает суть альтернативного диагноза, превращая его в малозначимую оговорку. Прямой фразы «Ваш диагноз ошибочен, у пациента другое» в языке клинического взаимодействия просто нет. Грамматика не запрещает — она не даёт падежа.

**Совет директоров.** Наши дни. Зал заседаний с панорамными окнами. Основатель компании сидит во главе стола. Ему семьдесят, он харизматичен и привык, что последнее слово — за ним. Исполнительный директор листает слайды презентации. Цифры плохие. Рынок упал, продажи провалены. В нормальной корпоративной грамматике он мог бы сказать: «Мы выбрали неудачную стратегию, её необходимо пересмотреть». Но не здесь. Здесь десятилетиями действует неписанный принцип «основатель всегда прав». И директор строит фразу иначе: «Рынок проявил неожиданную волатильность, наши показатели временно отклонились от прогнозных, при этом фундаментальные основы бизнеса остаются прочными». Фраза «мы ошиблись» в этой грамматике немыслима — не из страха увольнения, а потому, что легитимирующий принцип лишает её субъекта. «Мы» не может быть подлежащим при глаголе «ошиблись» — местоимение грамматически сцеплено с успехом.

**Дипломатический язык.** Москва, июль 1939 года. Нарком иностранных дел Литвинов принимает британского посла. Разговор идёт о гарантиях, о коллективной безопасности, о сдерживании агрессора. «Фашизм» — слово-враг, стержень всей советской дипломатической риторики последних лет. В этой грамматике невозможно построить конструкцию «союз с Гитлером против западных демократий» — падеж «союза» не сочетается с существительным «фашист». Через месяц Литвинова снимут. Ещё через две недели Риббентроп будет стоять в Кремле, а советские газеты, ещё вчера клеймившие фашистских агрессоров, выйдут с заголовками о «дружбе народов СССР и Германии». «Фашистские агрессоры» исчезнут — их место займут «англо-французские поджигатели войны». Грамматика будет переписана за несколько недель. Это редкий случай, когда немыслимое становится мыслимым не через поколения, а через внешний шок — и показывает, что стена немыслимости не каменная.

Эти четыре случая — плановый отдел, врачебный обход, совет директоров, дипломатический язык — подтверждают: грамматическая немыслимость универсальна. Она воспроизводится везде, где есть устойчивый порядок речи, иерархия и практики, закреплённые повторением. Московский материал, который мы разобрали, — не исключение и не свидетельство како-го-то особого «русского пути». Это частный случай универсального механизма.

## **10. Как устроен этот механизм: зазор, ядро и иммунитет**

Теперь, пройдя московскую историю и четыре сторонних иллюстрации, мы можем собрать воедино логику конструкции. Не как она возникла — это мы уже видели, — а как она работает, воспроизводится и даёт сбои.

Любая политическая грамматика, однажды сложившись, стремится к самосохранению. Изначально власть — инструмент для целей: порядка, защиты, развития. Но со временем она рекурсивно замыкается на себя. Цикл выглядит так: устранение угрозы → расширение контроля → обеднение обратной связи → утрата способности распознавать новые угрозы → появление неучтённой угрозы → экстренное усиление

контроля. На каждом витке функция самосохранения отгрызает часть ресурсов у функции целедостижения. Власть начинает управлять не столько реальностью, сколько собственным отражением в официальных отчётах.

В этом процессе ключевое значение имеет **эпистемический зазор** — расхождение между реальностью и официальной картиной, которое накапливается по мере того, как система фильтрует неудобные сигналы. Полной слепоты не бывает: сигналы всё равно просачиваются — через бюджетные цифры, локальные сбои управляемости, тихую фронду элит. Система не абсолютно слепа, а частично зряча. Именно эта остаточная зрячесть делает возможной эрозию немыслимости без внешнего катастрофического разрыва.

Зазор — переменная величина, а не приговор. Когда аномалия проникает в ещё функционирующие каналы и её интенсивность превышает порог подавления, возникает **эпистемический шок** — момент, когда система вынуждена признать несоответствие в терминах, которые сама ещё способна прочесть. Это не крах, но трещина в грамматике. Хрущёвский доклад 1956 года был таким шоком — часть грамматики взломана, хотя новая ещё не построена.

Система обладает **иммунитетом** — способностью подавлять аномалии, не подпуская их к легитимационному ядру. **Легитимационное ядро** — это область, где коррекция угрожает пересмотром оснований власти и, следовательно, несменяемости первого лица. Здесь немыслимость наиболее плотна. Ниже ядра, на **оперативно-технической периферии**, сохраняется обширная зона адаптивности: ротации командующих, мобилизационные манёвры, экономический разворот. Система не тотально заостенела и не гибка — она адаптивна в урезанном спектре.

Но иммунитет не бесплатен. Он потребляет административные, финансовые, репутационные и силовые ресурсы. Чем дольше сохраняется расхождение между картой и местностью, тем выше цена его поддержания.

Критический вопрос, следовательно, не о «силе» или «слабости» системы, а о **динамике ресурсной базы иммунитета**: восполняются ли ресурсы быстрее, чем нарастает когнитивный диссонанс. Пока баланс положителен — немыслимость держится. Когда ресурсы истощаются — зазор расширяется, и иммунитет переходит от предотвращения аномалий к их запоздалому латанию.

Немыслимость не бинарна. Она неравномерна по секторам и может быть локально обратимой при мощном внутреннем шоке. Стена немыслимости не каменная — она сложена из страха, инерции и отсутствия языка.

То, что мы видели в Москве XV века — треугольник интересов как носитель иммунитета, зазор между писцовыми книгами и реальностью, эпистемический шок старообрядческого раскола, — это не уникальные

явления. Это проявления универсальной логики, которую мы теперь можем применить к последующим векам русской истории.

## **11. Вместо итога: зрение, а не приговор**

Мы проследили путь от ханского шатра в Сарае зимой 1332 года до московской приказной избы конца XV века. От нефритовых чёток Узбека до скрипа дьячьего пера над окладной книгой. От многоголосой площади, где вечевой колокол ещё звонил, не чуя беды, до тишины Владычной палаты, где Иван III произнёс три «не быть» — и целый строй политической речи умолк.

Мы увидели, что московская грамматика — не судьба и не органика русской культуры. Это сделанное. Сделанное страхом карательных ратей, практикой ордынских переписей, интересом служилых, дьяков и церковных иерархов. Сделанное — значит, доступное для пересборки.

Не быстро. Не по мановению. Три ступени, которые превращают страх в немыслимость, работают в обратную сторону с тем же упорством. Нужны живые носители иной речи, истощение ресурсов старой грамматики и шок, который сделает старый язык очевидно непригодным. История не обещает, что эти условия сойдутся.

Но она даёт другое. Спор «катастрофа или школа», длящийся столетиями, — это спор внутри грамматики, а не о грамматике. Сама рамка, в которой мы спрашиваем, «чего было больше — хорошего или плохого», уже предполагает, что «сильное государство» есть главная категория оценки. Новгородец XIV века, вероятно, не понял бы этого критерия. Он спросил бы: насколько власть договороспособна? Насколько она слышит? Насколько с ней можно говорить?

Речь не о том, кто прав — новгородец или москвич. Речь о том, что сама рамка оценки исторически возникла, а не универсальна. Осознать это — значит перестать быть наивным участником суда и стать аналитиком процесса.

Грамматика — затвердевший страх. Но она же — и затвердевшая практика. А практику можно изменить. Не отменяя пройденного пути, не проклиная предков и не вымарывая страниц. Просто зная: то, что сделано людьми в конкретных обстоятельствах, может быть пересобрано — когда обстоятельства изменятся и когда найдутся те, кто вспомнит забытые падежи.

Это знание — не гарантия. Но это зрение. А зрение — это больше, чем ничего.

## **Часть II. Панорама: грамматика русской власти от Ивана III до Путина**

Ордынский фильтр создал московскую грамматику — конструкцию с единственным подлежащим. Дальше начинается история о том, как эта

конструкция пережила века, рушилась, пересобиравалась и дожила до наших дней — ни разу не исчезнув до конца.

## **1. Иван III: рождение грамматики**

Москва, 1479 год. Государь всея Руси стоит в только что освящённом Успенском соборе, построенном Аристотелем Фиораванти. Своды ещё пахнут известью. Митрополит Геронтий служит литургию. Иван III слушает молча, но думает не о богослужении. Он думает о Новгороде, который только что приведён к покорности. О Твери, которая пока держится, но скоро падёт. О Литве, которая отступила. О том, что ордынский выход он больше не платит — и Ахмат ничего не может с этим поделаться. В этот момент, под сводами нового собора, московская грамматика получает законченную форму. Подлежащее — одно: государь всея Руси. Сказуемые: жалуется, повелевает, казнит, правит на своей отчине. Все остальные — в косвенных падежах.

Через год — стояние на Угре. Иван колеблется, медлит, слушает советников. Одни кричат: «Иди вперёд, дай бой!» Другие шепчут: «Отступи, не губи войско». Архиепископ Вассиан шлёт ему гневное послание, призывая не слушать «духов лестии» и быть «крепким воином Христовым». Иван колеблется. Но итог известен: оба войска уходят без битвы. Ахмат отступает в степи, Иван возвращается в Москву. Ига больше нет — не потому, что Иван разбил Орду в генеральном сражении, а потому, что московская грамматика уже работает автономно. Ярлык не нужен. Внешняя сила, создавшая конструкцию, ушла, а конструкция осталась.

Церковь ещё сохраняет позицию второго субъекта — византийская симфония формально жива. Но уже видно, как она угасает. Конструкция «государь с владыкой порешили» уступает место «государь повелел, владыка благословил». Из двух подлежащих одно становится модальным дополнением. Благословение — не решение. Благословение — освящение уже принятого.

Немыслимость работает в полную силу. «Вече» — уже не институт, а бунт. «Договор с государем» — уже не политическая форма, а крамола. «Земля без хозяина» — не свобода, а сиротство. Грамматика не запрещает эти высказывания — она просто не даёт падежа для них.

Иван III стоит в соборе и смотрит на иконостас. За его спиной — триста лет ордынского владычества, от которых остался только инструмент. Впереди — пять веков государства, которое будет говорить на языке, рождённом в ханском шатре и отточенном в московских приказных избах. Он этого ещё не знает. Но он уже чувствует: подлежащее — одно.

## **2. Смута: грамматический коллапс**

Москва, июль 1610 года. Василий Шуйский, последний Рюрикович на троне, только что низложен. Боярская дума заседает в Кремле, и в палате пахнет не ладаном, а страхом. За стенами — польские войска

гетмана Жолкевского. В Тушине стоит второй самозванец. Шведы в Новгороде. Казаки грабят обозы. Страна расплзается по швам.

Но у бояр проблема не только военная. У них проблема грамматическая. Династия пресеклась. Позиция «государь всея Руси» опустела. Кто теперь подлежащее? Годунов мёртв. Лжедмитрий убит. Шуйский пострижен в монахи. Семибоярщина? Но «семь бояр» — такого подлежащего московская грамматика не знает. Это не субъект власти, а временный комитет. Польский королевич Владислав? Но он католик, и отец его — враг. Михаил Романов? О нём пока никто не думает всерьёз.

Грамматика входит в состояние, близкое к коллапсу. Нет подлежащего — нет высказывания. Нет высказывания — нет легитимного приказа, нет сбора войск, нет казны. Система, выстроенная Калитой и его преемниками, работала только при одном условии: есть государь. Когда государя нет — система не ослабевает. Она просто перестаёт быть.

И вот тут, в момент грамматической катастрофы, на поверхность выходит то, что казалось навсегда утраченным. Земские соборы собираются один за другим. Города переписываются между собой без оглядки на Москву. В Ярославле, в Нижнем, в Вологде действуют местные советы. В 1612 году Совет всея земли — коллективный субъект, невысказанный при Иване Грозном, — собирает ополчение и берёт на себя функции верховной власти. Князь Пожарский не государь — он «воевода по избранию всея земли». Подлежащее — «земля», сказуемое — «избрала». Конструкция, которую московская грамматика душила два века, возрождается из пепла.

Это не возврат к Новгороду. Новгородская грамматика опиралась на работающие институты — вече, посадника, тысяцкого. Здесь институтов нет. Есть импровизация. Отчаянная, сбивчивая, но работающая. Люди, забывшие, что такое «рядиться» с князем, заново учатся договариваться — потому что альтернатива проста: гибель.

Но как только династия восстановлена, как только Земский собор 1613 года избирает Михаила Романова — московская грамматика возвращается. Михаил юн и слаб, он не Иван Грозный и даже не Борис Годунов. Но он — подлежащее. И этого достаточно. Земские соборы ещё собираются при нём и при Алексее Михайловиче — но их глаголы снова сдвигаются. Раньше они «решали». Теперь — «советуют», «просят», «извещают». Из подлежащего они снова становятся дополнением. Соборное уложение 1649 года принимается совместно — но это последний такой случай. К концу века Земские соборы исчезнут вовсе.

Смута показала две вещи. Первое: московская грамматика не вечна. Она может рухнуть — и рухнет, когда пустеет позиция подлежащего. Второе: альтернативная грамматика не умерла. Она была подавлена, загнана в тень, но не уничтожена. В час распада она вышла на свет и доказала, что может работать. Но третье, самое горькое: как только кризис миновал, старая конструкция восстановилась. Треугольник —

служилые, дьяки, церковь — пережил Смуту и заново отстроил грамматику с одним подлежащим. Первый возврат состоялся.

### **3. Пётр I: переизобретение грамматики сверху**

Амстердам, 1697 год. На верфи Ост-Индской компании работает плотник Пётр Михайлов — высокий, нескладный, с мозолистыми руками, в которых топор сидит так же привычно, как скипетр. Он приехал учиться корабельному делу, но смотрит не только на корабли. Он смотрит на всё: на биржу, на шлюзы, на городские часы, на то, как амстердамский бургомистр отчитывается перед городским советом. Пётр не теоретик, он не будет читать Локка или Гроция. Но он схватывает суть: здесь власть устроена иначе. Она говорит на другом языке. Не «я повелел» — а «надлежит», «должен», «имеет быть».

Через двадцать пять лет этот язык будет вбит в русскую политическую речь — не поколениями, как при Орде, а административным указом, обрушившимся на страну как топор на плаху. Пётр — первый, кто пересобирает грамматику сознательно, не дожидаясь атрофии старых форм. Ему некогда ждать. Ему нужен флот, армия, заводы, коллегии — и ему нужна власть, которая говорит на языке регулярного государства.

Что меняется? Подлежащее получает новое имя: не «царь», а «император». Не «государь всея Руси», а «Отец Отечества». Государство перестаёт быть вотчиной — оно становится «регулярным целым». Все подданные — служащие. Дворянин, купец, крестьянин — каждый приписан к своему делу. Табель о рангах — это не просто список чинов, а грамматическая операция, переопределяющая, кто и в какой форме может быть услышан.

Появляется принципиально новый тип сказуемого: «должен», «надлежит», «имеет быть». Это не личный приказ — это безличное долженствование, регламент, инструкция. Власть говорит не «я хочу», а «по регламенту положе-но». Это огромный сдвиг: московский государь повелевал — петровский император администрирует.

Церковь теряет остатки второго субъекта. После смерти патриарха Адриана в 1700 году Пётр не разрешает выбирать нового. В 1721 году появляется Духовный регламент — документ, написанный Феофаном Прокоповичем, но продиктованный Петром. Патриаршество упразднено. Вместо него — Святейший Синод, государственный департамент по духовным делам, во главе с обер-прокурором, «оком государевым». Византийская симфония, с таким трудом перенесённая на русскую почву, умирает окончательно. Церковь больше не второй субъект. Она — ведомство.

Но петровская грамматика, насаждённая сверху, никогда не достигает той глубины немыслимости, какую имела московская. Там страх работал поколениями, здесь — указом. Там форма атрофировалась и исчезала из языка сама, здесь — её запрещают и заменяют. Это разница, которая будет сказываться весь XVIII век.

Дворцовые перевороты — лучшее тому свидетельство. Гвардия свергает императоров с такой лёгкостью, будто помнит: а ведь когда-то новгородцы «указывали путь» неугодным князьям. Она не формулирует это в политических терминах — в её языке нет слова «вече», она говорит о «верности присяге» и «благе отечества». Но её действия — это грамматический жест. Коллективный субъект, который вдруг обретает глаголы. Пусть всего на одну ночь, на один переворот. Но обретает.

Договорная речь не исчезла. Она ушла в тень гвардейских казарм, в кулуарные переговоры вельмож, в масонские ложи, которые появятся позже. Она ждала своего часа. И час ещё не настал — но тень была жива.

Пётр сделал то, чего не делал никто до него: он переизобрёл грамматику сверху, административным указом, за одно царствование. Он показал, что конструкция может меняться не только через века, но и через реформы. Но он же показал и другое: насаждённая грамматика не проникает так глубоко, как выжженная страхом. Её можно обойти. Под ней можно сохранить другую речь. И эта другая речь будет ждать.

#### **4. Екатерина II — Александр I: жалованная грамматика**

Петербург, 1785 год. Екатерина II сидит в кабинете Зимнего дворца, за окнами — апрельская слякоть, но в кабинете тепло и пахнет типографской краской. Перед государыней — только что отпечатанный лист: «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства». Жалованная грамота. Она перечитывает текст — не в первый раз, — и задерживается на формулировках: «дворянское собрание постановило», «предводитель дворянства ходатайствует». Это не просто слова. Это грамматическое событие.

Впервые за три столетия московской грамматики у кого-то, кроме государя, появляется зона собственных глаголов. Дворянство не получает политической власти в смысле парламента или конституции — ничего подобного. Но оно получает грамматическую позицию: «дворянское собрание постановило». Пусть только в пределах губернии. Пусть только по вопросам местного управления. Но это — подлежащее, пусть и второго уровня. Государь остаётся сувереном, но рядом с ним возникает кто-то, кто тоже может говорить от своего имени.

Екатерина не была ни либералкой, ни демократкой. Она была прагматиком. После пугачёвского бунта ей нужна была опора — и она дала дворянству то, что московская грамматика не давала никому: право на собственное высказывание. Она не знала, какую трещину открывает. А может быть, знала — и полагала, что сумеет контролировать.

Одновременно с жалованной грамотой возникают иные пространства речи. Масонские ложи — здесь дворяне говорят о равенстве и братстве, пусть пока в ритуальной форме. Кружки — «Общество друзей

словесных наук», «Беседа любителей русского слова». Вольное экономическое общество, учреждённое ещё при Екатерине, обсуждает вопросы земледелия и торговли. В этих пространствах проговариваются конструкции, невозможные в официальной грамматике: «общество полагает», «мы находим», «по общему мнению». Это ещё не политическая грамматика в полном смысле — но уже её зародыш.

Внук Екатерины, Александр I, идёт дальше. Точнее — пытается. Сперанский, сын сельского священника, поднявшийся на вершину бюрократического Олимпа, пишет «Введение к уложению государственных законов». Он пытается ввести в русскую грамматику конструкцию разделения властей — несколько подлежащих: Государственная дума, Сенат, министерства. Проект проваливается — слишком радикально, слишком рано. Александр, испугавшись аристократической оппозиции, отправляет Сперанского в ссылку. Но слова уже произнесены. «Конституция», «разделение властей», «законодательная власть» — эти термины больше не исчезнут из русского политического словаря. Они будут маргинальными, подцензурными, опасными — но они уже есть.

Трещина, начатая Жалованной грамотой, расширяется. Московская грамматика по-прежнему доминирует — подлежащее одно. Но на её теле появляются институты, которые говорят иначе. Земство — пока ещё нет, но ждать недолго. Суд присяжных — пока нет, но идея уже высказана. И главное: появляются люди, для которых альтернативная речь — не абстракция и не предание старины, а часть их собственного опыта. Они собираются в кружках, читают запрещённые книги, спорят до хрипоты. Они ещё не знают, что через сорок лет после смерти Александра выйдут на Сенатскую площадь. Но они уже учатся говорить.

## **5. Декабристы: рождение альтернативной грамматики**

14 декабря 1825 года. Санкт-Петербург, Сенатская площадь. Мороз под двадцать градусов, небо низкое, серое. Серая громада Исаакия ещё в лесах, Медный всадник смотрит на всё это каменными глазами. В каре выстроены три тысячи солдат — Московский полк, Гренадерский, Морской экипаж. Они не знают толком, зачем их сюда привели. Офицеры, выстроившие их, знают. Или думают, что знают.

В кармане у Сергея Трубецкого — несостоявшегося диктатора, который на площадь так и не придёт, — лежит «Манифест к русскому народу». В нём слова, которых московская грамматика не знала триста лет: «народ есть источник власти», «временное правительство постановило», «свобода гражданская». Это не жалованная грамота Екатерины — там дворянство получало право говорить от своего имени с разрешения государыни. Это — прямая альтернатива единственному подлежащему. Народ. Временное правительство. Граждане. Несколько субъектов.

Декабристы проиграют — картечь сделает своё дело, площадь опустеет, тела спустят под лёд Невы, пятерых повесят в Петропавловской крепости, остальных разошлют по Сибири. Но слова, произнесённые в тот день на морозе, не умрут. «Народ есть источник власти» — эта конструкция больше не исчезнет из русской политической речи. Она станет маргинальной, подцензурной, опасной, но она будет жить. В кружках тридцатых годов, в журнальной полемике сороковых, в прокламациях шестидесятых, в народнических листовках семидесятых — везде будет звучать это эхо декабрьского утра. Альтернативная грамматика родилась. Её носители умрут в ссылке, но их слова останутся в языке — как падежи, которые забыли, но не до конца, и которые можно вспомнить, когда придёт время.

А время придёт. Но не скоро. И не так, как они думали.

## **6. Николай I — Александр II: уваровская грамматика и её эрозия**

Петербург, 1833 год. Новый министр народного просвещения Сергей Уваров садится за циркуляр, которому суждено стать грамматическим манифестом николаевского царствования. Три слова: «Православие, Самодержавие, Народность». Уваров не просто формулирует идеологию — он выполняет грамматическую операцию. Три слова должны слиться в одно подлежащее. Самодержавие — субъект. Православие — его модальность, освящение. Народность — объект заботы, который не говорит сам, но которым говорят. Трещины, открывшиеся при Александре, должны быть зацементированы.

Николай I строит вокруг этой формулы целое государство. Цензурный устав 1826 года — чугунный, как тогда говорили. Третье отделение — глаз государев, следящий за умами. Журналы закрываются, кружки разгоняются, неблагонадёжные профессора отправляются в отставку. Немыслимость пытаются восстановить административным путём — так же, как Пётр насаждал свою грамматику, только с обратным знаком. Но есть одно «но».

Именно при Николае возникает то, чего московская грамматика не знала: постоянная, хоть и подцензурная, общественная дискуссия. В московских и петербургских гостиных спорят западники и славянофилы. Чаадаев пишет своё «Философическое письмо» — и журнал «Телескоп» закрывают, редактора ссылают, а автора объявляют сумасшедшим. Но письмо уже прочитано. Славянофилы — Хомяков, Киреевские, Аксаковы — пытаются воскресить соборность: «земля» и «государство» как два субъекта, не сливающиеся, но и не расходящиеся. Западники — Грановский, Белинский, позже Герцен — вводят европейские конструкции: «права личности», «общественное мнение», «конституция». Это уже не кулуарные разговоры в масонских ложах. Это грамматический спор о самих основаниях власти, вынесенный в публичное поле.

Николай умирает в 1855 году, не дожив до позора Крымской войны. На престол вступает Александр II — и начинается то, чего никто не ожидал. Трещина становится институтом.

1861 год — отмена крепостного права. 1864 год — земская реформа и судебная реформа. Земство получает право говорить: «земское собрание постановило». Суд присяжных: «присяжные заседатели признали». Это не политические подлежащие в полном смысле — земство ведаёт больницами и дорогами, присяжные решают вопросы факта, а не права. Но грамматически это формы с коллективным субъектом, встроенные в официальную систему. Местное самоуправление. Независимый суд. Свободная пресса — пусть с оговорками, но «Современник» и «Отечественные записки» выходят и спорят.

Александр II не был ни либералом по убеждениям, ни конституционалистом. Он был прагматиком, как Екатерина, и реформатором по необходимости. Но его реформы сделали то, чего не делала ни одна предыдущая трансформация: они создали институты, в которых альтернативная грамматика могла практиковаться легально. Земский врач, земский учитель, присяжный поверенный, газетный редактор — это новые социальные позиции, которые не вписаны в старый треугольник. Они говорят иначе. И их голоса разносятся по стране.

Уваровская формула ещё жива. Но она уже не всесильна. Трещина, которую Николай пытался зацементировать, расширилась до размеров института. А впереди — убийство царя-освободителя бомбой народовольцев, контрреформы его сына и накопление зазора, которое приведёт к 1917 году.

## **7. Александр III — Николай II: контрреформы и накопление зазора**

Тверь, 1890 год. Губернское земское собрание. Председатель — из местных помещиков, человек умеренный, далёкий от радикализма, — зачитывает проект ходатайства. Речь идёт о расширении земских полномочий — сущая мелочь: право самостоятельно распоряжаться продовольственным капиталом на случай неурожая. Обсуждение. Голосование. Принимается. Через месяц из Петербурга приходит ответ: ходатайство отклонено. Земствам предлагается «не выходить за пределы предоставленной им законом компетенции». Грамматическая формула: глагол «ходатайствовать» разрешён, глагол «решать» — нет.

Это был мягкий вариант. В других губерниях земских гласных, позволивших себе лишнее, просто удаляли. Земская статистика — единственный в России источник реальных данных о крестьянском хозяйстве — попадала под подозрение: слишком много цифр, слишком близко к правде. Зазор между официальной картиной и реальностью рос, и власть чувствовала это — но вместо того чтобы сокращать зазор, пыталась заставить реальность замолчать.

Александр III, вступив на престол после убийства отца народовольцами, взял курс на контрреформы. Это слово звучит сухо, но за ним — грамматическая операция: вернуть конструкцию к единственному подлежащему, закрыть трещины, открытые реформами Александра II.

Но в отличие от московской эпохи, это делалось не через насилие, ведущее к атрофии и немыслимости, а через административное придавливание. Земствам урезали глаголы. Суду присяжных — компетенцию. Университетам — автономию. Пресса получила новые временные правила, которые позволяли закрыть любое издание после третьего предупреждения.

Результат предсказуем. Альтернативные формы не исчезали — они консервировались. Земская интеллигенция уходила в «малые дела»: статистика, медицина, агрономия. Газеты осваивали эзопов язык — читатель понимал, о чём речь, а цензор не мог придраться. Зазор накапливался, и ресурсы иммунитета истощались. К началу царствования Николая II напряжение достигло такого уровня, что достаточно было искры.

Николай II искренне считал себя продолжателем дела Александра III. Он не хотел реформ. В 1895 году, принимая депутацию земств, он произнёс слова, которые войдут в историю: «Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как охранял их мой незабвенный покойный родитель». Слово «охранять» здесь — ключевое. Не реформировать, не обновлять — охранять. Грамматика с одним подлежащим воспринималась им не как историческая конструкция, а как естественный порядок вещей.

К 1914 году система говорит «царь и народ едины». Но зазор между этими словами и реальностью уже огромен. Военные поражения, распутинщина, министерская чехарда — грамматика перестала описывать реальность, а реальность перестала уместиться в грамматику. Эпистемический зазор достиг критического порога. Иммунитет истощился.

В феврале 1917 года в Петрограде начнутся хлебные бунты. Через неделю не станет монархии.

## **8. Революция 1917: рождение коллективного подлежащего и первая кража лица**

Петроград, конец февраля 1917-го. Хлебные очереди, мороз, слухи. Одна рота Волынского полка отказывается стрелять в толпу. К вечеру весь город бурлит. Через три дня царь отрекается от престола. Монархия кончилась — но кончилась не просто династия. Кончилось подлежащее.

В Таврическом дворце в эти дни возникают сразу два центра власти. Временный комитет Государственной думы — юристы, профессора, депутаты. Петроградский Совет — люди в шинелях и промасленных куртках. А потом — третий, четвёртый, десятый. Советы в Москве, в Иваново-Вознесенске, в Кронштадте. Армейские комитеты на фронте. Фабрично-заводские комитеты. Земельные комитеты в деревнях. Украинская Центральная рада. Страна заговорила на десятках языков

одновременно. Никакого единого подлежащего — множество субъектов.

Февраль — это взрыв альтернативной грамматики, накапливавшейся столетиями. Земская речь, университетская кафедра, газетная полемика, прокламации народовольцев, речи адвокатов в судах — всё это вдруг вырвалось из подавленного состояния и стало официальным языком. «Граждане! Свобода! Учредительное собрание!» — эти слова больше не маргинальны. Но есть проблема. Февральская грамматика была языком образованного меньшинства. Она не имела практики в массах. Крестьянство, рабочие, солдаты говорили на другом языке — более простом, более грубом, и он плохо стыковался с языком адвокатов.

Октябрь — это захват подлежащего. Ленин, Троцкий, Свердлов понимают то, чего не понимают ни Милюков, ни Керенский: чтобы грамматика стала реальностью, нужно одно-единственное подлежащее. Не несколько. Одно. «Пролетариат», «партия», «советская власть». Это коллективное по форме, но монолитное по сути подлежащее. Вся полнота власти — Советам. Но Советам, в которых большинство у большевиков. Другие партии уходят. Свободная пресса закрывается. Учредительное собрание, едва успев открыться в январе 1918-го, разгоняется через сутки. Подлежащих становится снова одно.

Но здесь происходит незаметная мутация — **первый шаг вырождения**. Московское подлежащее было лицом: государь всея Руси, помазанник Божий, именованный и отвечающий перед Богом. С него можно было спросить: «Ты повелел — ты ответишь». Новое советское подлежащее — не лицо. Это собирательное имя: «пролетариат», «партия», «советская власть». Конкретные люди — лишь временные носители функции. Генсек — не помазанник, а «первый среди равных», ответственный перед ЦК, ЦК — перед съездом, съезд — перед историей. Но история не может спросить. Она сама — безличная сила, чьи «объективные законы» партия лишь постигает и исполняет.

Легитимность переносится с Бога на науку. «Научный коммунизм» — новая модальность, новая церковная зона в треугольнике. Власть говорит не от имени Творца, а от имени законов истории, которые неумолимы и безличны, как закон всемирного тяготения. Это мощный ход: ты не можешь спорить с исторической необходимостью. Но одновременно это **кража лица**. Субъект власти становится анонимным по своей природе. Ответственность размывается в цепочке делегирования: каждый — лишь проводник. Спросить в конечном счёте не с кого.

Структурно — та же односубъектная грамматика, что и при Иване III. Но лицо исчезло. И это превращает страх, на котором держится немислимость, в страх без адресата. Люди боятся не государя, а «системы», «органов», «процессов». Грамматика делает первый большой шаг от личного глагола к безличному обороту.

## 9. Сталин — Брежнев: попытка вернуть лицо и затвердевание безличного

Москва, 1937 год. Большой театр, идёт «Анна Каренина». В правительственной ложе — Сталин. Он сидит в полутьме, и никто из сидящих в зале не знает, кто завтра окажется в подвале на Лубянке.

Сталинский террор — это попытка воспроизвести ордынский механизм: насилие → страх → атрофия → немыслимость. Но есть фундаментальное отличие. Ордынское давление действовало веками. Советский террор был сжат в одно поколение. Атрофия не успела стать немыслимостью — те, кто выжил, помнили.

Но видеть в Сталине только террор — значит упустить вторую половину механики. Сталин не только уничтожал. Он строил. Магнитка, Днепрогэс, Турксиб, тракторные заводы — страна, ещё недавно сохой ковырявшая землю, становилась индустриальной державой. Люди, вчерашние крестьяне, получали рабочие места, образование, социальные лифты. Сталинские пятилетки были не только цифрами в отчётах — они были ощущением, что ты участвуешь в строительстве нового мира. И миллионы людей разделяли это ощущение вполне искренне.

А потом была война. И тот же человек, который в 1937-м отправлял генералов в подвалы, в 1945-м принимал Парад Победы. Страна, потерявшая десятки миллионов, выстояла и победила. Сталин стал не просто вождём — он стал символом этой победы. Люди, прошедшие фронт, лагеря, эвакуацию, голод, связывали свою выжившую страну с его именем. Это не пропаганда — это реальность, с которой советская власть вошла в послевоенный мир.

И за всем этим стояла вера — утопическая, искренняя, часто наивная — в светлое будущее. В то, что жертвы не напрасны, что стройка и победа — это ступени к миру, где не будет ни голода, ни войны, ни угнетения. Эта вера была частью советской грамматики — её модальностью, её освящением, тем, что превращало приказы в миссию. И она работала — пока работала.

Советская грамматика держалась не только на страхе. Она держалась на гигантской стройке, на военной победе, на вере в светлое будущее. Страх создавал немыслимость. Стройка и победа создавали легитимность. Вера превращала приказы в миссию. Одно без другого не работало.

Но есть ещё одно измерение. Сталин попытался **вернуть личное подлежащее** туда, где уже утвердилось безличное. Культ личности — не случайная девиация. Это грамматическая реакция на коллективное и анонимное подлежащее, созданное революцией. «Великий вождь», «отец народов», «корифей всех наук» — всё это попытка заново найти лицо, на которое можно указать, которое можно любить и бояться адресно. Система, построенная на «исторической необходимости», вдруг породила живого «хозяина» — почти как при московских царях.

Почти — но не совсем. Потому что легитимация осталась прежней: «научный коммунизм». Сталин не был помазанником Божиим. Он был «верным учеником Ленина», «продолжателем дела». Его власть легитимировалась через безличную историю, а не через божественную санкцию. И это создавало неустранимое противоречие: личное подлежащее на безличном фундаменте.

Сталинский треугольник — партаппарат, плановики, идеологический отдел — обслуживал эту двусмысленность. Аппарат мог уничтожить любого, но сам же и трепетал перед Вождём. Плановики сводили цифры, идеологи освящали «научно». Но лицо Вождя, вознесённое над всем, оставалось уязвимым — именно потому, что оно личное. Когда он умер, вместе с ним умерла и персональная адресация страха.

1956 год. XX съезд. Хрущёв зачитывает доклад о культе личности. Эпистемический шок: «великий вождь» превращается в «тирана». Но что остаётся на месте развенчанного лица? Безличная конструкция: «коллективное руководство», «партия», «советский народ». Лицо убрали, а безличное подлежащее, затвердевшее при Сталине, стало ещё более анонимным.

Брежневский застой — это стабилизация **безличной грамматики**. Треугольник работает исправно: номенклатура, плановые органы, идеологический аппарат. Но он производит фикции. План, который не выполняется. Выборы, которые ничего не выбирают. Лозунги, в которые не верят даже те, кто их пишет. Подлежащее окончательно становится грамматической функцией без лица. «Партия сказала: надо», «в решениях съезда указано» — глаголы без субъекта. Реальная власть растворена в коридорах ЦК, но никто не может назвать её по имени. Это уже не личный государь и даже не обожествлённый Вождь — это **анонимный механизм**, чьи решения приходят как погода.

Зазор между официальной речью и реальностью становится неизбежным спутником безличного подлежащего. Потому что безличное не может признавать ошибки: ошибка требует лица, которое её совершило. А лица нет. Значит, реальность подгоняется под отчёты. Иммунитет дорожает. Всё готово к следующему коллапсу.

## **10. Горбачёв — Ельцин: попытка вернуть множество подлежащих и грамматический хаос**

Москва, 1986 год. Генеральный секретарь говорит живой речью, порой сбиваясь. «Гласность», «перестройка», «новое мышление». Горбачёв пытается сделать то, чего не делал никто в русской истории со времён Смуты: **заменить безличную односубъектную грамматику на многосубъектную**, западного образца. С разделением властей, с независимой прессой, с политической конкуренцией.

Съезды народных депутатов спорят в прямом эфире. «Демократизация», «правовое государство», «разделение властей» звучат с трибуны. Но Горбачёв не учёл, что грамматика — это структура, встроенная в социальные позиции, в язык, в привычку.

Альтернативные формы, веками накапливавшиеся в тени, вырвались наружу — но у них не было практики. Были слова — слова без мышц.

Хуже того: безличное подлежащее, размытое при Брежневе, начало разрушаться, а новое, множественное, не успело окрепнуть. Зазор между речью и реальностью, который Горбачёв своими руками превратил в пропасть, поглотил всю конструкцию. Национальные движения, забастовочные комитеты, «Демократическая Россия», Ельцин на танке в августе 1991-го — и флаг над Кремлём меняется. Беловежские соглашения в декабре — и СССР больше нет.

Девяностые — это **грамматический хаос**. Много подлежащих: президент, парламент, губернаторы, олигархи, независимые СМИ, региональные бароны. Никто не знает, кто главный субъект. Конституция 1993 года написана под сильного президента, но реальность девяностых — это борьба грамматик, а не работающая система. Безличное рассыпалось, личное не родилось.

Горбачёвский эксперимент подтвердил: многосубъектная грамматика в русском контексте не удержалась и десяти лет. Но важно, **чья** именно грамматика рухнула: это была безличная конструкция позднего СССР, которая утратила даже остатки лица. Её крах открыл дорогу к новому возврату односубъектной модели — но уже на совсем иных основаниях.

## **11. Путин: ловушка расщеплённого подлежащего**

Москва, декабрь 1999 года. Новый премьер, только что назначенный исполняющим обязанности президента, выступает с программной статьёй. Слог суховат. Через несколько месяцев, в мае 2000-го, он войдёт в Кремль как избранный президент. На первый взгляд — начинается восстановление грамматики с единственным подлежащим. Но теперь мы видим глубже: это не просто третий возврат, а **мутация, доводящая вырождение подлежащего до следующей ступени**.

Формально подлежащее одно — президент. Но реальная структура власти не укладывается в простое «он решает — они исполняют». Подлежащее **расщеплено**: есть публичное «лицо, принимающее решения» (президент как арбитр и гарант), и есть неформальная сеть патрон-клиентских связей, внутри которой решения фактически готовятся, торгуются и проводятся. Эта сеть не имеет названия, не описывается в Конституции и не является коллективным субъектом вроде политбюро. Это облако.

Грамматически это означает: высказывание «президент повелел» допустимо, но оно ничего не объясняет. Добавить «как решили в узком кругу» — нельзя, потому что «узкий круг» не существует как легитимный субъект. Он не может быть подлежащим. Политическая речь заполняется безличными оборотами: «было принято решение», «существует мнение», «прорабатывается вопрос». Подлежащее исчезает из вида не потому, что его скрывают, а потому, что его нет в языке системы как дискретной единицы. **Это не государева модель, и не советская: здесь невозможен даже вопрос «кто?».**

Альтернативная речь не выжигается страхом, как при Орде, и не атрофируется, как при застое. Ей выделяют ниши, в которых она разрешена и даже поощряется. Кухня, соцсети, эмигрантские медиа. В этих нишах можно говорить что угодно. Но слова лишены связи с действием. Произнести «народ есть источник власти» можно — это никак не изменит реальность. Это **бессилие речи**: альтернативная грамматика не становится немысленной, она становится перформативно пустой. Как молитва в устах неверующего: слова те же, а силы в них нет.

Система добивается этого двойной бухгалтерией: форма и содержание разведены. Выборы есть (глагол «избирают» сохранён), но их исход предопределён (реальный глагол — «назначают через плебисцит»). Суд выносит решения, но никто не верит в их независимость. Когда «выборы» означают «назначение», а «суд» — «оформление», сама идея, что слова могут что-то менять, становится инфантильной мечтой. Речь приватизирована: доступна, но бесполезна.

Легитимация держится на **перманентном кризисе**. Внешний враг, внутренний враг, военная угроза — состояние осаждённой крепости делает любое высказывание о смене власти грамматически неуместным. Нельзя одновременно говорить «мы воюем за выживание» и «давайте обсудим, кто будет следующим президентом». Первое высказывание уничтожает второе, опираясь на модальность выживания. Это не запрет — это грамматическая несовместимость. Обсуждать можно всё, кроме самого факта, что обсуждение происходит в условиях, исключающих смену власти.

Треугольник сменился: силовики вместо служилых, корпоративные технократы вместо дьяков, лояльная часть церкви вместо идеологического отдела. Но есть фундаментальное отличие. Московский служилый осознавал себя частью государева дела. Советский плановик верил в «научный коммунизм». Нынешние «вершины» **лишены собственного языка легитимации**. Они не могут сказать, почему они здесь, кроме «так поручено». Их речь — бюрократический канцелит либо циничный оффрекорд. Треугольник функционирует, но молчит как субъект. Он не может легитимировать даже собственное существование.

В этом и состоит **грамматическая ловушка**. Подлежащее расщепилось на публичную фигуру и теневое облако; альтернативная речь не подавлена, а обесмыслена; легитимация — перманентный кризис; носители власти не имеют языка для самооправдания. Это не классическая односубъектная грамматика — это **симуляция** подлежащего. Форма сохранена, содержание (именованность, ответственность, связь речи и реальности) опустошено.

Такая конструкция не требует ни страха, ни атрофии — она работает через перепроизводство пустых высказываний. Но именно поэтому она потенциально хрупче своих предшественниц: когда слова перестают что-то значить, любое слово, которому вдруг поверят, может поджечь

всё здание. Следующий логический шаг — окончательное исчезновение самого формального субъекта.

## 12. Что говорит эта панорама: вырождение, а не цикл

Грамматика русской власти от Ивана III до Путина — не прямая линия и не маятник. Это **траектория вырождения подлежащего**.

- **Московское подлежащее** — личное, именованное, отвечающее перед Богом. «Ты повелел — ты ответишь».
- **Советское подлежащее** — коллективное, безличное, легитимированное «законами истории». Ответственность размыта в цепочке делегирования, спросить не с кого.
- **Постсоветское подлежащее** — расщеплённое, симулированное. Публичное лицо есть, реальное облако решений — нет. Альтернативная речь сохранена, но лишена силы. Сама возможность вопроса «кто отвечает» исчезает.

Трижды конструкция рушилась. Трижды возвращалась — но не та же самая. Каждый следующий возврат **вынимал из подлежащего часть лица**. От помазанника Божия — к коллективной партии, от партии — к расщеплённому облаку. Легитимация сдвигалась от трансцендентного к имманентному: Бог → история → стабильность/кризис. Цена возврата росла, а способность системы говорить о самой себе правдиво — падала.

Горизонт этой траектории — власть, у которой **нет лица**. Алгоритмическая система, где решения принимает не человек, а оптимизирующий протокол. Его нельзя спросить. Ему нельзя предъявить обвинение. За ним стоят архитекторы, но они не на троне. Формально решения принимает система. Исчезает сама грамматическая позиция для вопроса «кто?». А когда некому задать вопрос, не может быть и ответственности.

Значит ли это, что такая траектория — «русская судьба»? Нет. Это исторически сделанная конструкция. Но именно потому, что она сделана, она и может быть пересобрана. Вся русская история прошита альтернативными грамматиками — подавленными, маргинализированными, но не исчезнувшими. Забытые падежи можно вспомнить. Цена вопроса — огромна, но он остаётся открытым.

Панорама не даёт предсказаний. Она даёт **зрение**: мы знаем, на что смотреть — на треугольник, на зазор между речью и реальностью, на ресурс иммунитета, на носителей другой речи. И мы знаем, что вырождение подлежащего не вечно. У него есть предел. А предел — это ещё не конец.

## Часть III. Три возврата: вырождение подлежащего

Всякая сильная оптика рано или поздно упирается в вопрос, который она не может снять. Для грамматического подхода таким вопросом оказался этот: если односубъектная модель возвращалась трижды — после Смуты, после 1917-го, после 1991-го — не означает ли это её неизбежность?

Но теперь, после панорамы, мы можем увидеть больше: три возврата — это не просто повторение одного и того же. Это три шага **вырождения подлежащего**.

### **1. Первый возврат: личное подлежащее**

Смута обнулила московскую грамматику: опустело место государя. На поверхность вышли забытые формы — земские соборы, Совет всея земли. Но как только династия восстановилась, вернулась и грамматика единственного подлежащего. Михаил Романов юн и слаб, однако он — именованный субъект. «Государь всея Руси повелел». Легитимация — божественное помазание. Ответственность — перед Богом. Спросить можно: «Ты повелел — ты ответишь».

Это возврат в исходную форму: одно лицо, один глагол, Внешняя Инстанция на месте.

### **2. Второй возврат: коллективное подлежащее и кража лица**

Февраль 1917-го взорвал односубъектную грамматику множеством голосов. Но Октябрь собрал их обратно в одно подлежащее. Однако это подлежащее — уже не лицо. «Пролетариат», «партия», «советская власть» — коллективные субъекты, чья воля выражается безличными формулами: «историческая необходимость требует», «съезд постановил».

Здесь происходит первый шаг вырождения. В московской модели царь отвечал перед Богом и мог быть назван по имени. В советской модели подлежащее — не конкретный человек, а инстанция, чьи решения принимаются «научно обоснованным» аппаратом. Генсек формально подотчётен ЦК, ЦК — съезду, съезд — истории. Но история не может спросить. Это безличный оборот, маскирующийся под субъекта.

Ответственность размывается в цепочке делегирования: каждый — лишь проводник объективных законов. Спросить по-настоящему не с кого, потому что лицо утрачено, а новое легитимирующее основание — «наука» — не обладает голосом. Это ещё не алгоритм, но уже грамматика, в которой личное местоимение заменено на отглагольное существительное.

Советский треугольник идеально обслуживал эту конструкцию: партаппарат (служилые), плановики (дьяки), идеологический отдел (церковная зона). Но в отличие от московского треугольника, он не мог указать на того, кто в конечном счёте отвечает. Великий вождь — фигура, а не инстанция ответственности.

### 3. Третий возврат: расщеплённое подлежащее и симуляция

После 1991-го односубъектная грамматика рухнула в многосубъектный хаос. К началу 2000-х она восстановилась вновь — но уже в форме, которая доводит вырождение до следующей ступени.

Подлежащее расщеплено на публичное лицо (президент) и теневое облако реального принятия решений, которое не имеет грамматической позиции в языке системы. Альтернативная речь не выжжена страхом, как в ордынском сценарии, а лишена связи с действием — слова произносятся, но ничего не меняют. Легитимация держится на перманентном кризисе, который делает обсуждение смены власти грамматически неуместным, а не запрещённым. Треугольник (силовики, технократы, лояльная церковь) функционирует, но не обладает собственным языком самооправдания.

Это не просто восстановление — это **грамматическая ловушка**: форма субъекта сохранена, а его содержание (именованность, ответственность, связь речи и реальности) опустошено. Следующий логический шаг — исчезновение самого формального субъекта.

### 4. Что показывают три возврата

Три возврата — не свидетельство неизбежности односубъектной модели как таковой. Они показывают нечто более конкретное: **каждый следующий возврат сохраняет структуру «одно подлежащее», но ослабляет лицо**. От помазанника Божия — к коллективной партии, от партии — к расщеплённому облаку. Легитимация сдвигается от трансцендентного к имманентному: Бог → история → стабильность/кризис. Ответственность последовательно размывается: личный ответ перед Богом → безличная ответственность перед «законами истории» → невозможность даже поставить вопрос «кто отвечает».

Это паттерн, а не закон. Цена возврата растёт, ресурсы иммунитета истощаются, а каждая новая версия всё хуже умеет описывать реальность, не порождая фикций. Бесконечных возвратов не бывает — не потому, что модель невозможна, а потому, что вырождение имеет предел.

### 5. Контраргументы и пределы аргумента

Паттерн трёх возвратов остаётся серьёзным аргументом в пользу устойчивости односубъектной конструкции. Но три оговорки не снимаются:

- Стоимость возврата растёт. Иммунитет дорожает. После Смуты реставрация почти бесшовна, после 1917-го оплачена террором и голодом, после 1991-го требует постоянного и изощрённого поддержания зазора между речью и реальностью. Ресурсы конечны.

- Альтернативные грамматики никогда не умирали полностью. Вечевая речь, земская практика, самиздат, язык 1990-х — подавлены, но не исчезли. Материал для другой речи существует, хотя и не в собранном виде.
- Паттерн — это индукция, а не предсказание. Три точки позволяют провести линию, но линия может не продолжиться.

Оптика не разрешает спор между неизбежностью и возможностью иного. Она лишь показывает, что спор имеет смысл. И добавляет к нему новое измерение: вопрос не только в том, вернётся ли односубъектная модель, но и в том, **какой ценой и насколько ещё обезличенной она вернётся, если вернётся.**

## **Часть IV. Предел вырождения: куда ведёт грамматика без лица**

### **1. От лица к функции**

У любой грамматики власти есть неотменимое свойство. Чтобы подлежащее было ограничено, нужен тот, перед кем оно отвечает. При московской грамматике этой инстанцией был Бог. Царь отвечал перед Ним — не метафорически, а всерьёз. Страх Божий был не эмоцией, а встроенным в конструкцию механизмом: есть Тот, перед Кем придётся держать ответ.

Советская власть заменила Бога историей и партией. Ответственность размылась в цепи делегирования: каждый лишь проводник объективных законов. Спросить не с кого, но инстанция ещё существует в виде «исторической необходимости».

Постсоветская модель размыла и этот остаток. Президент лавирует между группами влияния, ни одна из которых не является формальным институтом ответственности. Перед ними нельзя ответить — между ними можно только маневрировать. Подлежащее расщепилось на публичное лицо и теневое облако решений. Грамматически это движение от личного глагола к безличному обороту, от именованного субъекта к анонимной функции.

Горизонт этого вектора — власть, у которой нет лица. Алгоритмическая система, где решения принимает не человек, а оптимизирующий протокол. У него нет тела, нет страха, нет честолюбия. Его нельзя вызвать на ковёр. Ему нельзя предъявить обвинение. За ним стоят те, кто его настроил, но они не на троне. Формально решения принимает система. Исчезает сама грамматическая позиция для вопроса «кто?». А когда некому задать вопрос, не может быть и ответственности.

Это логический предел вырождения подлежащего — не катастрофа, а завершение траектории, начатой ордынским дьяком с сальной свечой.

### **2. Проблема регресса контролёров**

Грамматический анализ подходит здесь к своей границе. Он фиксирует: подлежащее требует ограничителя. Ограничитель требует легитимации. Легитимация упирается в вечный вопрос: кто контролирует контролёров?

Любой внутренний арбитр может стать новой властью. Сеть ИИ-арбитров? Кто настроил сеть — тот и власть. Этический кодекс? Кто его составил — тот и хозяин. Конституция? Кто её интерпретирует — тот и правит. Общественное мнение? Кто формирует повестку — тот и управляет. Независимый суд? Кто назначает судей — тот и определяет исход.

Московская грамматика решила проблему регресса, убрав всех контролёров, кроме одного — Бога. Бог не может быть захвачен, переизбран или переписан. Но когда Бог уходит из публичного поля, проблема возвращается — и решается каждый раз всё более радикальным усекновением контролёров. От множества (вече, соборы, церковь как второй субъект) — к одному личному (государь). От личного — к коллективному (партия). От коллективного — к расщеплённому (публичное лицо и теневое облако). От расщеплённого — к алгоритму, где субъекта нет вовсе.

Регресс неостановим внутри замкнутой системы. Оптика честно говорит: эту проблему я не решаю — я её обнаруживаю. Это предел модели. Дальше начинается не анализ, а то, что лежит за его границами.

### **3. Внешняя Инстанция как логическая возможность**

Если регресс контролёров не останавливается ни на какой внутренней инстанции, то единственный непротиворечивый выход — постулировать существование Внешней Инстанции, чей авторитет не нуждается в человеческой легитимации. Того, Кто не может быть настроен, переизбран или захвачен. Того, перед Кем отвечают — и Кто Сам есть источник ответственности, а не ещё одно звено в цепочке.

В философско-теологическом дискурсе такая инстанция именуется Богом.

Это не доказательство. Это констатация: если такая инстанция есть — проблема имеет решение. Если её нет — проблема остаётся открытой, и вырождение подлежащего идёт до логического конца. Анализ не может сделать выбор между этими двумя вариантами. Он может только показать, что третьего не дано. Либо есть внешний ограничитель, либо подлежащее стремится к абсолютной неподсудности — к алгоритму.

И здесь — самое трудное. Даже если признать, что без Внешней Инстанции проблема неразрешима, это не порождает веры. Вера — не вывод из анализа. Она — дар или отсутствие дара. Можно знать, что проблема неразрешима без Бога, и не верить в Бога. Это противоречие

не логическое — экзистенциальное. Чистый разум упирается в потребность в Том, Кого он не может ни доказать, ни породить.

Модель не требует от читателя веры. Она требует признать: на этом рубеже анализ заканчивается.

#### 4. Что остаётся

Мы проследили грамматику русской власти от её возникновения в ханском шатре зимой 1332 года до горизонта, на котором подлежащее власти перестаёт быть человеком. Мы увидели, что она сделана, а не дана. Что она трижды рушилась и трижды возвращалась — каждый раз в новой форме, но с той же односубъектной структурой. И каждый следующий возврат вынимал из подлежащего часть лица: от помазанника Божия — к коллективной партии, от партии — к расщеплённому облаку, от облака — к перспективе алгоритма, у которого нет ни имени, ни страха, ни ответственности.

Это и есть главный сюжет всей панорамы: не триумф и не трагедия, а **вырождение подлежащего**. Медленное, непрямолинейное, иногда прерываемое катастрофами, но неумолимое — как только из конструкции исчезла Внешняя Инстанция, способная остановить регресс контролёров.

Мы довели анализ до границы и зафиксировали: внутри замкнутой системы проблема легитимности неразрешима. Выход требует Внешней Инстанции. Но наличие такой Инстанции не доказывается анализом, а вера в неё не порождается знанием о её необходимости.

Это и есть честный итог. Не победа и не поражение. Не идеология и не проповедь. Аналитическая модель, которая знает свои пределы и не стыдится их. Инструмент для тех, кому понадобится строить другую речь, если старые формы перестанут работать — и пока ещё есть кому строить.

Где-то в архиве, в папке с неразобранными грамотами, лежит пожелтевший лист — роспись дымов и сох, составленная безвестным дьяком зимой 1333 года. Он не знал, что меняет язык власти. Он просто считал. За окном его палаты скрипел снег, пахло воском и овчиной, а где-то далеко, в заволжских лесах, ещё звенел вечевой колокол — пока звенел. Через двести лет его потомок, подьячий Посольского приказа, составит грамоту, в которой слово «вече» будет обозначать бунт, а слово «договор» — крамолу. Ещё через триста лет его отдалённый преемник — экономист в потёртом пиджаке — не сможет произнести фразу «отпустите цены», потому что в его языке нет для неё грамматической позиции. Ещё через сто лет кто-то склонится над экраном, на котором безличная система выведет: «Решение принято. Ответственный не назначен». И, может быть, именно в этот момент кто-то вспомнит забытый падеж.

История грамматики не закончена. Она сделала паузу. А пауза — это не тишина. Это вдох.

## Программа пересборки: выход из траектории вырождения

Если предшествующий анализ верен, то траектория вырождения подлежащего не фатальна — она указывает на точку приложения усилий. Выход не может быть построен на пустом месте; он должен опираться на те элементы ответственной речи, которые сохранились в тени и на периферии. Нижеследующие контуры — не утопия и не дорожная карта реформ, а стратегия, вырастающая непосредственно из грамматической логики и направленная на возвращение власти лица и слову связи с действием. Риски минимизированы тем, что программа не штурмует легитимационное ядро, а последовательно расширяет зону договора и ответственности.

### *1. Институциональное измерение: расширение периферии договора*

Задача — создать социальные пространства, где люди учились бы договариваться и нести ответственность, не разрушая при этом государственную управляемость.

- **Муниципальная ответственность.** Передача реальных бюджетов и полномочий (благоустройство, первичное здравоохранение, локальные налоги) на уровень городских округов и поселений. Глава избирается и подотчётен собранию. В малом масштабе восстанавливается связь между словом и делом, обещанием и отчётом.
- **Независимый суд как школа права и речи.** Реформа судебной власти с выборностью мировых судей и реальной состязательностью. Суд — это ежедневный урок именной ответственности, где не работают безличные отговорки.
- **Профессиональные корпорации.** Врачебные, учительские, инженерные палаты с правом саморегуляции и этического контроля. Не формальные организации, а структуры, где репутация и честность защищены институционально, а не зависят от лояльности начальству.

Эти меры не вводят «разделение властей» сверху; они позволяют договорной речи прорасти снизу, сохраняя центр в роли арбитра, но не единственного автора всех решений.

### *2. Антропологическое измерение: выращивание субъекта*

Никакие институты не заработают, если человек останется дополнением, не способным быть подлежащим. Восстановление субъектности — долгая, но необходимая работа.

- **Школа ответственности.** В образовании — переход от трансляции знаний к воспитанию способности спорить, аргументировать, держать слово, понимать последствия выбора. Элементы школьного самоуправления с реальными полномочиями.
- **Историческое покаяние и осмысление.** Без политического мазохизма — честный разговор о том, как насилие становилось языком

власти. Не для самобичевания, а для извлечения грамматических уроков: чтобы помнить, какие падежи утрачены и как их возвращать.

- **Горизонтальные практики солидарности.** Поддержка волонтерства, соседских сообществ, кооперативов не как «мобилизационных проектов», а как школ доверия и договороспособности. Здесь слово обретает плоть дела.

### *3. Религиозно-этическое измерение: возвращение внешней инстанции*

Грамматика власти с личным ответственным подлежащим невозможна без вертикали — без признания, что власть отвечает не только перед народом, но и перед Богом. Возвращение этого измерения — не клерикализация, а восстановление фундамента.

- **Церковь как совесть, а не идеологический отдел.** Отказ от роли освяителя власти. Её задача — быть носительницей памяти о том, что всякий правитель смертен и подотчётен Творцу. Отделение от государства при сохранении общественной миссии.
- **Религиозное просвещение без катехизации.** В школе и публичном поле — знание об истории религии, основах христианской антропологии, понятиях греха и ответственности. Это разрушает ту немислимость, при которой вопрос о Боге просто не встаёт.
- **Личное свидетельство «малого остатка».** Программа не работает без людей, уже сейчас живущих исходя из вертикальной рамки. Их тихий пример — важнее институтов.

### *4. Предохранители: как не сорваться в новый виток*

Любая пересборка сопряжена с рисками. Три механизма способны удержать процесс от скатывания в хаос или новую авторитарную мутацию.

- **Президент как временный гарант перехода.** На обозримый период сохраняется сильная президентская власть, но её функция переопределяется: не «повелеваю», а «гарантирую процесс расширения договорной речи». Президент становится арбитром, а не единственным автором решений.
- **Постепенная территориальная децентрализация.** Права регионов расширяются не по этническому, а по экономико-территориальному принципу, с сохранением федерального каркаса. Угроза сепаратизма гасится экономической заинтересованностью и культурной общностью.
- **Информационная открытость и культура спора.** Общественные СМИ с наблюдательными советами из представителей профессий и гражданских ассоциаций. Задача — приучить общество к тому, что публичный спор — не катастрофа, а норма политической жизни.

Эти контуры не гарантируют успеха. Но они показывают, что трезвый анализ вырождения не обрекает на пассивность. Напротив, он даёт зрение, а вместе с ним — возможность действовать не вслепую. Траектория, начатая в ханском шатре зимой 1332 года, не обязана завершиться безличным алгоритмом. Она может быть переломлена — если найдутся те, кто вспомнит забытые падежи и начнёт говорить от первого лица, держа ответ перед Лицом.

## Методологическое резюме

### 1. О чём эта работа и что такое «грамматика власти»

Эта работа выросла из одного вопроса: как ордынское владычество изменило не только политическую карту Руси, но и сам язык, которым русские земли говорили о власти? Вопрос оказался продуктивным. Он заставил увидеть за чередой событий — битв, ярлыков, реформ, переворотов — нечто более устойчивое: **грамматику власти**.

«Грамматика» — не лингвистический термин, а аналитическая метафора. Подобно тому, как грамматика языка задаёт не о чём говорить, а *как именно* строить осмысленные высказывания (порядок слов, падежи, согласование), политическая грамматика регулирует формы выражения и обоснования решений. Она определяет, кто может быть **подлежащим** в политическом высказывании, какие **глаголы** с ним сочетаются и в каком **падеже** стоят все остальные.

«Князь повелел, и бояре исполнили» — правильное высказывание для Москвы конца XV века. «Вече постановило, и князь подчинился» — правильное для Новгорода XIV века. В Москве того же времени эта конструкция уже не складывается. Слова есть, а грамматической позиции для них нет. Это не запрет — это **невозможность**. Не страх мешает произнести — отсутствие формы.

Применительно к политической системе грамматика определяет пять вещей: что считается проблемой, достойной обсуждения; какие причинно-следственные связи легитимны; какие аргументы принимаются всерьёз; кто и в какой форме может вносить предложения; и главное — какие варианты действий вообще могут быть помыслены и озвучены.

Важно подчеркнуть: эта оптика не является инструментом морального суда над прошлым. Страх перед властью был для людей той эпохи нормальным, часто рациональным состоянием, обеспечивавшим предсказуемость в мире, где альтернативой выступал хаос неопределённости. Анализ не клеймит Московию — он исследует, как из этого страха вырос определённый тип политической речи и какие долгосрочные последствия это имело.

## 2. Три порядка ограничений

Граматику необходимо отличать от двух более привычных и поверхностных форм ограничения речи.

**Цензура** — явный запрет, за которым стоит угроза наказания.

**Самоцензура** — добровольный отказ из страха.

**Грамматика** — более глубокий уровень. Это не страх и не запрет. Это глубинная структура, определяющая, что вообще может быть осмысленно помыслено внутри данной системы. Если в грамматике отсутствует форма для какого-либо варианта — этот вариант не запрещён, он **не возникает**. Запрещать не нужно то, для чего в языке системы просто нет формы.

## 3. Механизм: три ступени

Как внешнее насилие превращается во внутреннюю языковую невозможность? Механизм состоит из трёх ступеней, которые проходятся за несколько поколений.

**Первая ступень — страх.** Карательная акция происходит здесь и сейчас. Люди избегают определённых форм не потому, что разучились их использовать, а потому что боятся последствий. Мысль о другом порядке ещё существует — она подавлена. Исторически этот страх не был патологией; он был рациональной реакцией на реальность, в которой неповиновение означало гибель, а подчинение давало хотя бы относительную безопасность.

**Вторая ступень — атрофия.** Страх действует поколениями. Практика выходит из обихода. Сначала ею перестают пользоваться из страха, потом — по привычке, потом — за отсутствием живых носителей. Языковая форма без практики ветшает.

**Третья ступень — немыслимость.** Через несколько поколений исчезает не только практика, но и сама способность построить высказывание по старой модели. Нет запрета — есть невозможность. Молодой дьяк XV века не может сказать «вече постановило» — не потому, что боится наказания, а потому что его язык не даёт грамматической позиции.

Так внешнее насилие становится внутренней немыслимостью. Грамматика — это затвердевший страх. Именно поэтому она так прочна. И именно поэтому она не вечна: сделанное может быть пересобрано. Но пересборка требует прохождения тех же трёх ступеней в обратном порядке — долгого и негарантированного процесса.

## 4. Треугольник интересов

Грамматика с единственным подлежащим не может держаться на одном человеке. Ей нужен социальный каркас. В московской конструкции этот каркас образован тремя группами, каждая из которых обслуживает свой участок грамматики.

**Служилые** (позже — офицерство, чиновничество, номенклатура, силовики). Их статус произведен от верховной власти. Их участок — предикаты службы и исполнения.

**Дьяки** (позже — плановики, аппаратчики, технократы). Их профессиональный язык состоит из исчисляемых единиц. Их участок — учёт и администрирование.

**Церковь** (в советское время — идеологический аппарат). Её участок — модальность должного: «государю повиноваться подобает», «историческая необходимость требует». Никто, кроме неё, не может легитимно освятить власть — превратить её из голой силы в порядок, имеющий высшую санкцию.

Три группы, три сектора грамматики, одно политическое высказывание. Пока треугольник спаян, альтернативу некому выговорить — не потому, что всем заткнули рот, а потому, что нет социальной позиции, из которой альтернатива может быть осмысленно сформулирована.

## 5. Эволюция ответственности и эпистемический зазор

У любой грамматики власти есть неотменимое свойство: чтобы подлежащее было ограничено, нужен тот, перед кем оно отвечает, — **Внешняя Инстанция**. При московской грамматике этой инстанцией был Бог. Вера была всеобъемлющей данностью, не требовавшей доказательств; она составляла фундамент легитимности. Советская власть заменила Бога историей и партией. Постсоветская — несколькими группами влияния, ни одна из которых не является институтом ответственности.

Любая политическая грамматика стремится к самосохранению. Но реальность меняется быстрее, чем язык, которым её описывают. Возникает **эпистемический зазор** — расхождение между официальной картиной и реальностью. Система обладает **иммунитетом** — способностью подавлять аномалии, не подпуская их к **легитимационному ядру** (области, где коррекция угрожает основам). Иммуитет потребляет ресурсы. Пока баланс положителен — грамматика держится. Когда ресурсы истощаются — зазор расширяется.

## 6. Авторская позиция: между анализом и выбором

Эта работа выросла из аналитического вопроса, но автор не претендует на нейтральность. Его позиция состоит из двух разновидностей, которые важно не смешивать.

**Аналитическая позиция** — это весь исторический разбор, модель трёх ступеней, треугольник интересов и панорама вырождения подлежащего. Эта часть опирается на источники, аргументы и приглашает к проверке или опровержению. Она не осуждает прошлое. Страх московской эпохи не клеймится как «варварство» — он понимается как исторически нормальное состояние, которое к тому же давало людям предсказуемость, защищая от худшего зла — хаоса. Точно так же вера рассматривается не как объект для критики или апологии, а как фундаментальная данность сознания, на которой стояла легитимность.

**Ценностный выбор** автора лежит за пределами чисто исторического анализа. Он состоит в следующем: единственной исторически работающей и одновременно этически внятной формой политической речи для России автор считает **личное, именованное, ответственное единоначалие московского образца**, при условии подотчётности этого единоначалия Внешней Инстанции — Богу. Именно такое подлежащее позволяет задать вопрос: «Ты повелел — ты и ответишь».

Вся описанная в работе историческая логика есть, с точки зрения автора, **деградация именно такого подлежащего**. Советская власть украла лицо, подменив его партией. Постсоветская расщепила лицо на публичную маску и теневое облако, сделав вопрос «кто ответит?» грамматически невозможным.

Главная причина этой деградации — утрата Внешней Инстанции, Судьи над подлежащим. Бог ушёл из публичной политической речи, и его место заняли суррогаты: история, партия, стабильность, алгоритм. Ни один из них не может задать вопрос власти и получить ответ.

Этот ценностный выбор не является «либеральным манифестом» и не навязывается как единственно возможный вывод из анализа. Из того же исторического материала можно извлечь иные уроки. Но автор честно обозначает, на каком основании он стоит сам, и приглашает читателя к осознанному самоопределению — согласию или спору.

## 7. Что остаётся

Мы проследили грамматику русской власти от её возникновения в ханском шатре зимой 1332 года до горизонта, на котором подлежащее власти перестаёт быть человеком. Мы увидели, что она сделана, а не дана. Что она трижды рушилась и трижды возвращалась — каждый раз в новой форме, но с той же односубъектной структурой. И каждый следующий возврат вынимал из подлежащего часть лица.

Модель не предсказывает крах. Она предсказывает сужение спектра будущих состояний. Она не даёт морального вердикта прошлому, но обнажает ценностную рамку автора. Это не «чистая оптика», а **честная диагностика** с чётко названной позиции. Она не требует от читателя согласия с этой позицией. Она требует честности в ответ: согласись или опровергай, но не прячься за мнимую нейтральность.

В начале этой работы был вопрос. В конце — не ответ, а зрение. Зрение, а не приговор. Этого недостаточно для предсказаний, но достаточно для ориентации. Мы не знаем, где и когда возникнет следующий грамматический разрыв. Но мы знаем, на что смотреть: на треугольник интересов, на ресурсную базу иммунитета, на зазор между речью и реальностью, на носителей другой речи, которые всегда есть. Это знание — не гарантия. Но это больше, чем ничего.